

ДЖОРДЖ

ОРУЭЛЛ

ГЛОТНУТЬ ВОЗДУХА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Annotation

Один из маленьких шедевров писателя, роман, совсем непохожий на «1984» и «Скотный двор», который познакомит вас с иным Оруэллом – мастером психологического реализма.

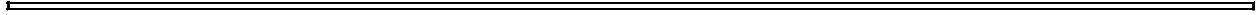
Эта книга пронизана духом Англии в период затишья между двумя мировыми войнами – затишья обманчивого, предгрозового, насквозь пропитанного предчувствием грядущей беды. Книга, в которой присущий Оруэллу сарказм соседствует с неподдельным лиризмом и реалистической глубиной образов.

Осознание того, что вся предыдущая жизнь – одна сплошная ошибка, однажды заставит Джорджа Боулинга – главного героя романа – вернуться в город детства, чтобы вновь испытать давно забытые чувства счастья и свободы и отдаться единственному оставшемуся в его жизни увлечению – рыбалке...

- [Джордж Оруэлл](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)

- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)



Джордж Оруэлл

Глотнуть воздуха

© George Orwell, 1939

© Перевод. В.М. Домитеева, 2012

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Мертвец уже, а все ему неймется.

Народная песня

Часть первая

1

Мысль эта у меня забрезжила в тот день, когда я получил свой новенький зубной протез.

Отлично помнится денек. Четверть восьмого я привычно выскочил из постели и успел вовремя закрыться в ванной от детей. Скотское январское утро хмурилось грязно-бурым небом. Через оконце ванной можно было сверху обозреть маленький, пять на десять ярдов, обсаженный кустами бирючины травяной прямоугольник с плешью посередине – «садик», как это у нас называется. Такие же садочки, те же кусты бирючины, та же трава позади всех домов на Элмир-роуд. Одно различие – где детей нет, там плешь не вытоптана.

Пока набиралась ванна, я исхитрялся брить щетину старым, затупившимся лезвием. Из зеркала глядело мое лицо, а ниже, на полочке, в стакане с водой лежали зубы для этого лица. Временная модель, которую дантист Уорнер дал мне носить до окончания работ над новой челюстью. Ну, лицом я не так уж плох: румяная, с кирпичным колером физиономия из тех, что в ансамбле с парой голубоватых глаз и блондинистой шевелюрой. Слава-те господи, ни седины еще, ни лысины, так что, когда зубы во рту, выгляжу вроде бы и помоложе своих сорока пяти.

Пометив в уме купить лезвий, я залез в ванну, начал мылиться. Намылил руки (они у меня такие, знаете, в веснушках до локтя), потом спинную щетку с ручкой взял тереть лопатки, их иначе-то никак. Вот горе горькое: прибавилось на теле мест, куда не дотянуться. Честно сказать, в полноту меня повело. Нет, я не то чтоб диво балаганное. Вес у меня всего фунтов под двести, а вокруг талии последний раз измерил – сорок восемь дюймов, ну, может, сорок девять, уж не помню. И не противный я, не «дико разжиревший», живот до колен не свисает. Просто я так это, широковат слегка, объемистый. Знаете плотных резвых толстяков, бойких симпатяг, которых награждают прозвищем Толстун или Бочонок, которые всегда и везде душа общества? Так вот вам я. Меня обычно называют Толстуном: Толстун Боулинг. А по-настоящему я Джордж, Джордж Боулинг.

Хотя тогда вот, в ванной, настроения не имелось общество веселить. Вообще подумалось, что вечно я теперь с утра не в духе, хотя сплю

хорошо, желудок в норме. Ясно, конечно, почему – проклятые вставные зубы. Лежали на дне стакана и, увеличенные сквозь воду, скалились, как в черепае. Паршиво чувствуешь себя, сомкнув голые десны, – весь ты какой-то смятый, скукоженный, будто кислого яблока куснул. И потом, что ни говори, искусственная челюсть – рубеж. Как удалят тебе последний зуб, так больше себя не надуешь, не почувешь красавцем, шейхом голливудским. Оброс салом и сорок пять годков. Собравшись ноги намылить, осмотрел я свои телеса. Это все ерунда, что толстякам ступней собственных не увидеть, однако же я, если прямо встану, то вижу только пальцы ног. Мылю я свой живот и думаю: да никто из бабенок на тебя бесплатно лишний раз не глянет. И не особо, доложу вам, в тот момент я жаждал женских взглядов.

Но что кольнуло – этим утром, казалось бы, мне точно радоваться. Во-первых, на службу не идти. Старый автомобиль, в котором я «окучиваю» свой участок (тружусь по части страхового бизнеса, агент «Крылатой саламандры»: жизнь, пожар, кража, кораблекрушение, двойняшки – страхуем все), этот автомобиль мой временно на ремонте, и хоть я собирался зайти в лондонский офис скинуть очередные бумаженции, но на сегодня отпросился, чтобы покончить с новыми зубами у дантиста. Ну и еще штука, насчет которой я уже просто голову сломал. Вы понимаете, вдруг привалило мне семнадцать фунтов, о которых никто не в курсе, то есть дома у меня никто. Откуда, сейчас расскажу. Парень один из нашей фирмы, Мэллорс, раздобыл книжку «Астрология и скачки» с объяснением, как разгадать влияние планет по цветам на жокейской форме. А где-то там как раз должна была бежать Пиратская Невеста, лошадка неважнецкая, зато жокей в зеленом, в том именно цвете, который по звездам тогда самый счастливый. Мэллорс, прямо свихнувшись со своей астрологией, несколько фунтов на эту лошадь ставит и меня чуть не в слезах умоляет, чтобы я тоже. Так он приставал, что я в конце концов, против обычных моих правил, рискнул, поставил десять шиллингов. И ведь дотрюхала Пиратская Невеста первой к финишу. Забыл точный расклад по ставкам, но мне лично досталось семнадцать фунтов. Я как-то инстинктивно – сам от себя не ожидал: наверно, тоже житейский рубеж – денежки тут же в банк и ни гугу. Раньше такого со мной не бывало. Хороший муж и отец купил бы платье Хильде (Хильда – моя супруга), ботинки детям. Но я пятнадцать лет прожил хорошим мужем и отцом, уже по горло.

Намылившись от головы до пят и немного ожив, я сел в ванну поразмышлять насчет заначки – на что тратить. То ли, думаю, в уик-энд гульнуть с подружкой, то ли тихонечко транжирить на радости вроде сигар,

двойных стаканчиков. Прикидывая насчет женщин и сигар, только я пустил воду погорячей, как по ступенькам перед ванной топот бизоньих стад. Детишки прибыли! Двое ребят в доме размером с наш – это как пинта пива в полпинтовой кружке. По двери барабанный грохот с воплем:

- Папулечка, пусти, мне надо!
- Обождешь! Нельзя сюда.
- Ну пап, ну срочно!
- Срочно брысь от двери. Дай принять ванну.
- Папу-у-ля! Мне на-а-до! Мне *надо* кой-куда!

Что тут поделаешь! Сигнал тревожный. Как полагается в таких домах, клозет у нас, конечно, вместе с ванной. Я вытащил сливную пробку, наскоро обтерся, и, едва открыл дверь, малыш Билли – мой младший, семи лет – пулей пронесся внутрь, на ходу ловко увернувшись от подзатыльника. Я уже полностью оделся, искал галстук, когда обнаружил, что мыло-то с шеи не смыл.

Жуткое дело – засохшее мыло на шее. Ходишь, будто клеем обмазанный, причем, если не смыть, до вечера будет казаться, что весь ты в этой пакости. Настроение испортилось, вниз я пошел, готовый никому не спускать.

Столовая у нас, как у всех остальных на Элзмир-роуд, комнатенка футов двенадцать на четырнадцать, а то и меньше, в основном загроможденная японским дубовым буфетом с парой пустых графинов и серебряной подставкой для яиц, подарком тещи нам на свадьбу. Жenuшка угрюмо возилась около заварочного чайника, как всегда полная тревог и страхов, потому что в «Новостях» объявили насчет повышения цен на масло или еще чего-то. Духовку она не зажгла, так что, хоть окна были наглухо закрыты, стоял зверский холод. Нагнувшись, громко засопев (мне теперь без сопения не нагнуться), я с довольно явным намеком чиркнул спичкой и зажег газ. Хильда искоса метнула взгляд, которым она выражает недоумение от моей нелепости.

Хильде тридцать девять, в начале нашего знакомства выглядела она – точь-в-точь заяц. Такая и сейчас, только совсем худющая, подсохла, в глазах вечный испуг, вечное беспокойство, а если вконец расстроена, плечи горбом и руки скрестит на груди, как старая цыганка у костра. Она из тех, кого жизнь пришибает предчувствием грозящих бед. Мелких бед, разумеется. До войн, землетрясений, эпидемий, голода и революций ей никакого дела нет. Причитания у нее – масло дорожает, газовый счет огромный, обувь детская сносилась, опять подходит срок за радио в рассрочку. Со временем я понял: ей это прямо сласть – скрестивши руки на

грудь, раскачиваться и нудить: «Джордж, это же *очень* серьезно! Ума не приложу, что делать! Где взять денег? Ты, видимо, не понимаешь, *как* это серьезно!» В голове ее крепко засело, что кончим мы в работном доме. Между прочим, если мы впрямь докатимся, ей будет там раз в сто легче, чем мне, – наверно, даже испытает удовольствие от полной безопасности.

Дети уже были внизу, успев молниеносно вымыться и одеться, что им удастся всегда, когда нет случая томить кого-нибудь за дверью ванной. Пока я садился к столу, они тягуче препирались: «Да-да, ты!» – «Нет, не я!» – «Ты!» – «Нет, не я!» И могли все утро тянуть эту волюнку, если б я не велел немедленно захлопнуть рты. У нас лишь двое: семилетний Билли и Лорна, ей одиннадцать. Чувство мое к ним специфическое. Частенько я даже их вид едва терплю. А разговоры их вообще невыносимы. Они в той скучной поре младших школьников, когда все мысли крутятся вокруг линеек, пеналов и у кого лучше отметки по французскому. Но иногда, особенно когда они уснут, во мне совсем другое. Бывало, что я стоял возле их кроваток летними лунными ночами, смотрел на них, спящих, на их круглые рожицы, кудельки еще светлей моих и ощущал что-то такое, про что в Библии говорится «взволновалась... внутренность... от жалости к сыну своему»^[1]. В подобные минуты я себя чувствую как сухой стручок с семенами, который сам пенса не стоит, нужен лишь затем, чтобы вот этих малявок на свет пустить, прокормить, вырастить. Ну, это изредка. Обычно-то свое отдельное существование видится мне довольно стоящим, я чувствую, что есть еще силенки и еще много светит впереди, и роль покорной загнанной скотины, дойной коровы для супружницы и ребятишек меня не манит.

Завтрак прошел в почти полном молчании. Хильду грызло ее всегдашнее «ума не приложу, что делать!», отчасти из-за новых цен на масло, отчасти потому, что кончались рождественские каникулы, а мы еще не уплатили пять фунтов за прошлый школьный семестр. Съев яйцо всмятку, я намазал хлеб «Царским золотым мармеладом». Хильда жметесь с провизией, покупает дешевку вроде этой: пяток пенсов за фунт, на этикетке самым мелким шрифтом, что продукт утвержденный, «с добавлением нейтральных фруктовых соков». Тут меня стало разбирать, я довольно ехидно, как иногда умею, начал насчет того, где ж их выращивают, эти самые «нейтральные фрукты», в каких таких удивительных странах, что за плоды чудесные и прочее, пока Хильда не разозлилась. Не остроумие мое сочла тупым, просто ей всегда кажутся грехом насмешки над экономией.

Я просмотрел газету – ничего новенького. От Испании до Китая люди крошат друг друга, на вокзале нашли отрезанные женские ноги, свадьба

короля Зога^[2] может не состояться. Наконец, часов в десять, раньше, чем собирался, я вышел из дому. Дети убежали играть в городской сад. На крыльце мерзко дохнуло сыростью, порыв ветра хлестнул по голой шее в засохшем мыле, мигом дав ощутить, что одет я не по погоде и весь покрыт гнуснейшей липкой коркой.

Бывали вы на моей Элмир-роуд в Западном Блэчли? Да хоть и не бывали, наверняка видели десятки точно таких же.

Все эти наводящие тоску улицы ближних и дальних пригородов. Везде как под копирку. Длиннющие ряды однообразных сдвоенных домишек^[3] (по Элмир-роуд их числится 212, наш – номер 191), уныло, словно по шаблону казенных строений, и вообще безобразно. Оштукатуренный фасад, пропитанная антисептиком калитка, изгородь из бирючины, зеленая входная дверь. Названия жилищ на табличках либо «Кущи боярышника», «Лавровые рощи», «Цветущий мирт», либо «Бель вю», «Мон абри», «Мон репо»^[4]. Не чаще одного раза на полсотни домов встретится такой наглый вызов обществу, который демонстрирует субъект (кончит наверняка в работном доме), покрасивший входную дверь не зеленой, а синей краской.

Ощущение липкой гадости на шее меня буквально деморализовало. Интересно, как эта штука может опустить. Весь гонор вышибает, будто оказался вдруг на людях с оторванной подметкой. В то утро виделся я себе без прикрас. Словно со стороны глядел на самого себя, идущего по улице, – толстого, красномордого, с фальшивыми зубами, скверно и вульгарно одетого. Джентльменом такому малому не притвориться. За двести ярдов видно, чем я занимаюсь, – то есть не в точности страховками, но явно чем-нибудь торгую, что-то рекламирую. На мне же просто униформа нашего племени: слегка потертый серый костюм «в елочку», синее пальто за пятьдесят шиллингов, котелок, перчаток нет. И стиль у меня, как у всех, имеющих процент с продажи, развязный, пошлый. В лучшие минуты, когда я выходной костюм надену и сигару закурю, меня можно причислить к букмекерам или владельцам баров, а в худшие – к тем, кто таскается по домам и навязывает пылесосы, но обычно оцените вы меня правильно. Едва взглянув, скажете: «Выколачивает парень свои пять – десять фунтов в неделю». Материально и социально я, так сказать, типичный представитель Элмир-роуд.

Шел я по улице фактически один. Мужчины успели уехать поездом 8.21, женщины тормозились возле плит. А когда есть время пройтись по этим ближне-дальним пригородам и настроение есть поразмышлять, так просто смех берет насчет всей здешней жизни. Ну правда, что это, в конце концов, такое – улица вроде Элзмир-роуд? Тюрьма, тюремный коридор с рядами камер. Шеренга сдвоенных полуотдельных казематов, в каждом из которых дрожит, трясется бедолага «от-пяти-до-десяти-фунтов-в-неделю», чьи жилы тянет палач-босс, на чьей шее сидит супруга-ведьма, чью кровь высасывают деточки-пиявки. Все это хрень насчет страданий пролетариев. Я лично не особо их жалею. Скажите, попадался вам когда-нибудь чернорабочий, что ночами не спит – боится увольнения? Страдает работяга физически, зато оттрубил смену – и свободен. Но в каждом из здешних отсеков горемыка, который не бывает свободным *никогда* и лишь в коротких снах мечтает о том, как скинет босса в шахту и завалит тонной угля.

Конечно, рассуждаю я сам с собой, кошмарный вывих нашего сословия, что мы воображаем себя владельцами чего-то очень ценного. Ведь девять из десяти на Элзмир-роуд в уверенности, что дома, где они проживают, их собственность. Хотя и наша улица, и весь квартал до Хай-стрит целиком в бандитских лапах домовладельческого общества «Сад Гесперид», принадлежащего строительной компании «Щедрый кредит». Вот эти «щедрые кредиты», надо думать, умнейший современный рэкет. И мое страхование, я признаю, чистое надувательство, но надувательство простое, откровенное. А шик таких строительных компаний – околпачить, убедив жертву в оказанном ей величайшем благодеянии. Вы ее палкой по хребту, а она ручку вашу лижет. Я бы увековечил «Гесперид» и всю эту систему монументом особого божества. Дивный вышел бы идол, среди прочего – гермафродит. Верх до пояса – генеральный директор фирмы, низ – родная милая женушка. В одной руке у идолица был бы ключ (от рабочего дома, разумеется), в другой этот... ну как его? кривой кулек со всякими подарками?.. Ага, рог изобилия, откуда фонтаном страховки, радиоприемники, вставные челюсти, пилюли, презервативы и садовые катки.

Дело ведь в том, что и внеся последний взнос за наше жилье на Элзмир-роуд, мы не становимся его хозяевами. Это ж не истинная собственность, фактически – аренда. Причем в домах такого класса, если за наличность, наша площадь идет примерно по триста восемьдесят, ну а с рассрочкой на шестнадцать лет цену поставили пятьсот пятьдесят. Сто семьдесят сразу в чистую прибыль «Щедрого кредита», который, уж будьте

уверены, имеет с нас гораздо больше. В цену по триста восемьдесят входит и доход строителей, но наш «Щедрый кредит» под вывеской «Уилсон и Блум» сам строит и себе гребет. Тогда один расход – материалы, но тут опять-таки барыш, поскольку с вывеской «Брукс и Скаттерби» фирма сама себе продает кирпич, плитку, двери, рамы, песок, цемент, да и стекло, наверное. Меня б не слишком удивило, что под очередным названием ребята сами себе поставляют даже пиленный лес для оконных и дверных коробок. А в придачу (и это нас прямо сразило, хотя уж тут-то можно было предугадать) «Щедрый кредит» не обнаружил склонности блюсти чистоту сделки. Жилье по Элмир-роуд возвели, оставив кой-какие участки пустыми, – не бог весть какая красота, зато детишкам хорошо, есть где побегать, на этих самых «плановых лугах». В бумагах не значилось, но всегда подразумевалось, что луга так лугами и останутся. Однако же пригород Западный Блэчли развивался: в 1928-м тут запустили фабрику «Повидла Ротвелла», в 1933-м – англо-американский завод цельностальных велосипедов, – а население прибывало, арендная плата повышалась. Никогда не имел счастья лицезреть во плоти ни сэра Герберта Крама, ни кого другого из шишек «Щедрого кредита», но так и вижу слюнки на их губах. Короче, вдруг явились землекопы и началась застройка луговых участков. В «Садах Гесперид» горестно взвыли, немедленно была учреждена ассоциация защиты дольщиков жилья – куда там! Адвокаты Крама в пять минут нас расколошматили, на «плановых лугах» выросли здания. Действительно красиво нас обвели, и не откажешь – по заслугам старому Краму титул баронета, умен собака. Одним мифом, одной только иллюзией, что мы живем в своих домах, имеем, так сказать, «свой пай в стране», обращены мы, олухи несчастные из «Садов Гесперид» и прочих подобных ловушек, в вечных и верных рабов Крама. Ну как же, господа «почтенные домовладельцы» – то бишь все поголовно услужливые подлипалы-консерваторы. О нет, нельзя резать гусыню, несущую золотые яйца! А факт, что никакие мы на деле не домовладельцы, что мы вообще еще на середине выплат и замучены постоянным страхом каких-то бед, каких-нибудь помех очередным взносам, так этот факт лишь увеличивает наш рабский энтузиазм. Куплены с потрохами, и, главное, куплены за свои же кровные денежки. Каждый болван, рвущий кишки, дабы вдвойне оплатить эту кирпичную халупу и называющий ее «Прелестный вид», поскольку тут как раз ни вида, ни тем более прелести, каждый жизни не пощадит в бою, спасая родину от большевизма.

Свернув с Уолпол-роуд, я пошел по Главной улице. Поезд на Лондон был теперь в 10.14. Возле «Тысячи мелочей» припомнилось, что утром я

наметил купить бритвенных лезвий. У прилавка с мылом заведующий отделом, или как там его по чину, распекал продавщицу. В такой час покупателей всякой дешевой ерунды не много. Если войти сразу после открытия, так иной раз увидишь всех девиц, выстроенных в ряд и получающих утренний нагоняй лишь для порядка, для рабочей формы на день. Говорят, торговые сети держат таких специальных парней с полномочиями издеваться и оскорблять, которых посылают по магазинам взбадривать девичьи коллективы. Заведующий был злым недомерком, плечи квадратные и пики седых усов. Он только что атаковал растяпу за провинность – видимо, за какую-то ошибку в сдаче, – и зудел будто циркулярная пила:

– Нет-нет! Правильно сосчитать вам в тягость! Нет уж, не станете вы – *правильно*. Это ж какой труд, надорваться можно! Да ни за что!

Не удержавшись, я взглянул на продавщицу. Малоприятны ей были сейчас, когда ее песочили, взгляды немолодого толстяка с багровой мордой. Я тут же быстро отвернулся, притворившись, что страшно заинтересован товарами на соседнем прилавке: кольцами для занавесок или чем-то еще. А недомерок снова принялся зудеть. Из тех, что вроде стрекозы: отлетят и внезапным виражом опять по вашу душу.

– *Правильно* считать не для вас! Какое ж *вам-то* дело, если магазину убыток на два шиллинга? Ну что такое два боба для *вас*? Пустяк вовсе. Нельзя даже *просить* вас озаботиться и считать как положено. Нет-нет! Чтоб *вам-то* без хлопот, а остальное уж невелика важность. Думать-то о других вы не привыкли, и зачем вам?

Продолжалось это минут пять, слышно было на полмагазина. Он отворачивался, отходя, даря ей благодарную надежду, что отвязался наконец, и тут же опять налетал задать новую порцию. Стоя поодаль, я украдкой поглядывал на них. Виновная – девчонка лет восемнадцати, кубышка с круглым плоскатым лицом, которому не светит как-либо измениться к лучшему. Ее трясло, просто трясло от муки. Она вихлялась, как под ударами кнута. Другие продавщицы изображали слепоту и глухоту. Мучитель, плотный маленький поганец из боевитых воробьев (грудь колесом и руки за спиной, под пиджачными фалдами), – типичный старший сержант с характерным только для этого ранга росточком ниже нормы. А замечали вы, как часто палачами служить берут именно недомерков? Он был весь в поту, даже усы взмокли, и едва не въехал в нее от рвения пронять разносом. И девчонка – по телу дрожь, щеки пылают.

Наконец он решил, что хватит, отступил важно, будто адмирал на командирской палубе. Я подошел к прилавку с лезвиями. Усач знал, что

каждое слово мне донеслось, девица тоже, оба они понимали и то, что знаю я, что они знают. Но хуже всего для меня – девчонка напустила вид, что ничего, мол, не случилось, и спесиво поджала губы, выражая умение барышни из магазина «держат дистанцию» с мужской частью клиентов. Гордячка леди через полминуты после того, как на моих глазах тряслась и пресмыкалась! Лицо ее еще горело, руки дрожали. Я спросил лезвий, она стала рыться в трехпенсовом подносе. В этот момент лютый начальник повернул к нам, и на секунду мы с продавщицей замерли, ждали – опять начнет. Девушка вздрогнула, как собачонка, завидевшая хлыст. Но уголком глаза она косилась на меня, явственно вспыхнув злобой ко мне, свидетелю ее мучений. Вот дела!

Забрав пакетик лезвий, я убрался. Шел и раздумывал: почему люди это терпят? Трусят, конечно. Дерзко возразишь и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней бакалее, куда мы ходим. Двадцатилетний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы – ему бы при кузнечном деле, а он в своей беленькой курточке, низко вам кланяясь из-за прилавка, умильно ладони потирая: «Да, сэр! Точно так, сэр! Приятная погодка для этих дней. Чем могу услужить вам, сэр?» Буквально просит, чтоб вы его пнули. Ясно – заказы, покупатели и «клиент всегда прав». И на лице его печать смертного ужаса: ведь вы пожаловаться можете на недостаточно любезного, и тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать: вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании? Ох, страшно! Рыбешки мы в море страха. Наша, наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или еще чего-нибудь такого. У евреев мороз по коже, как вспомнят Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный поганец в магазине тоже, может, трясется, держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет и дома он, возможно, тихий добрячок, на заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребятишки его за усы треплют. Вы ж никогда не прочитаете насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ОГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой этот изверг был в частной жизни милый да сердечный, лучший из мужей и отцов, канарейку свою обожал и прочее.

Девица от прилавка с мылом все смотрела мне вслед, когда я выходил. Убила бы меня, если б могла. Просто возненавидела, да как! Сильней гораздо, чем своего начальника.

Низко летел бомбардировщик. Минуту-две казалось – на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков в поношенных пальто: деляги самого мелкого пошиба, агенты по распространению чего-нибудь. Один стал читать «Мейл», второй – «Экспресс». Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками, клерки адвокатских контор, громко вели беседу, сыпля юридической галиматьей, чтобы всех поразить и показать – они-де не из общего стада.

Я смотрел на плывущие мимо задворки зданий. Ветка от Западного Блэчли большей частью идет через трущобы, но такой покой на душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках, птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. Делаш напротив глянул на взмывший самолет. И ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли побежали. Как через год, через два мы тут поведем себя при виде таких штук? С испугу обмочив штаны, кинемся по подвальным норам?

Делаш отложил свою «Дейли мейл».

– Тэмплгейтский призер опять первым, – сообщил он.

Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет «безусловных прав наследования» и «номинальной аренды». Второй делаш, порывшись в кармане жилета, вытащил мятую дешевую сигарету. Потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне:

– Бочонок, спичка есть?

Я достал спички. Ишь, Бочонок я ему. Нет, даже интересно. С мыслей про бомбежки я переключился на размышления о своей фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной.

Что говорить, я полноват. Сложение у меня и вправду бочка бочкой. Но вот ведь любопытно: потому только, что вам случилось слегка растолстеть, чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый, вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом, или косоглазого, или же с заячьей губой – вы станете кличкой напоминать ему об этом? Ну а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого уж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это очень нравится. Мне никогда не войти в бар «Корона» (это в Падли, я там бываю по делам разок в неделю), без того чтоб осел Уотерс, который коммивояжером от мыловаров «Пенистой волны», но в основном пиво тянет в «Короне», не ткнул меня пальцем под

ребра, припевая: «Ой, раскормил он мощи, Том Боулинг усопший», – а идиоты вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. Палец-то, между прочим, у чертова Уотерса как штырь железный. Они думают: толстый, так ничего не чувствует.

Делаш взял еще спичку, в зубах поковырять, и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мучной фургон, тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. А странно, думал я, ведь в чем-то они насчет толстяков и правы. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать врожденный, он не совсем такой же человек, как прочие. Идет по жизни в неприменной персональной комической манере, вечно он вроде юмориста на концерте, а если кто за триста фунтов вес набрал, то прямо-таки уже клоун. Я побывал и тощим, и дородным – знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься, и будто защищен, и перестанешь брать все чересчур всерьез. Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже не изобразить трагедию; известно – раз толстяк на сцене, будут шуточки. Представить только – толстобрюхий Гамлет! Или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я читал книжку, которую у Бутса взял, роман «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с волной темных волос, бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню примерно вот такое место: «Ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостиной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить – Шейла изменила! О нет! Нет! Но внезапно сознание прояснилось, истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул как подкошенный и зарыдал».

Да-да, примерно так. Читал я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну а вот я? Ну, предположим, гульнула с кем-то Хильда в уик-энд. И черт с ним, пусть. Нет, вообще было бы приятно получить повод хорошенько ей поддать, но чтоб я рухнул и рыдал? Я-то, с моими телесами? Да это был бы просто срам.

Поезд пыхтел по набережной, за окнами тянулись непрерывной лентой крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы... До чего же эти бомбы засели у всех нас в мозгах. А полетят наверняка и скоро, вопроса нет. По бодрым утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в «Хронике новостей» писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть

такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам спуститься ниже двадцати тысяч футов. Газетчик, видно, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбам до земли не долететь. Или, скорее, речь про то, что Арсенал в Вулидже^[5] не заденет, а разбабахают только предместья наподобие Элзмир-роуд.

Но, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И касательно женщин у него удач больше, чем некоторым кажется. Зря представляют, что толстяк женщине – всегда только смешить ее. На деле женщинам *любой* мужик не в шутку, если умелец зубы заговаривать насчет своей страстной любви.

Однако же я не всегда бочонком был. В последние лет восемь-девять раздобыл и приспособил себя к соответственной манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Нет, не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу израненное сердце и все тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем одного только бесстыдства, будут и подходящие ребята вроде меня. Я, что бы ни было, всегда смогу подзаработать (подзаработать, но солидно-то нажиться – никогда); пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь, продержусь дольше остальных. Да, из таковских я. И все же кое-что еще во мне имеется, осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу: хоть жирку нарастил, а под ним я все тот же – тощий. Вам вот не приходило в голову, что – как про камни говорят – внутри у каждой глыбы статуя, так и во всяком толстяке внутри худышка?

Делаш, который у меня спички просил, всласть ковырялся меж зубов, насупясь над газетой.

– Солдатские обмотки вроде бы туго идут, – произнес он.

– Да вовсе не впихнуть, – откликнулся второй. – А как понять-то «пара ног»? Не все, что ль, пятки равно мозолями кровят?

– Видно, прикажут ихние ноги на марше газетами обертывать, – съязвил первый.

За окном все тянулись ряды крыш, вились лентами вдоль дорог и улиц, будто сам скачешь по холму, а внизу неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек – это же двадцать миль домов почти что сплошь. Господи! Начнутся налеты, и как же нас не разбомбить? Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверно. Кто в наше время этакий кретин, чтоб объявлять войну? Будь я Гитлером, так послал бы самолеты посреди

мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешают через Лондонский мост, тетки тряпье развешивают на веревках, канарейки радостно заливаются, с неба вдруг гул – и бам! бу-бух! Дома на воздух, по тряпью брызгами кровь, и щебет канареечный над трупами.

Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. Миля за милей улицы, лавки жареной рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках книжные магазинчики, фабрики, муравейники квартир, ларьки с моллюсками, молочные, электростанции – без конца и без края. Целый мир! И какой покой всюду! Просто заветные леса без хищников. Из пушек не палят, гранаты не бросают, никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, во всей Англии сейчас ни одного окна, откуда целится винтовка.

Но через пять годков? Через два года? Через год?

4

Закинув бумаги в контору, я двинул дальше. Уорнер из дешевых дантистов по-американски, приемная его (он любит говорить – «мой кабинет») в скопище офисов, между фотографом и оптовым торговцем резиной. Прибыл я раньше назначенного часа, как раз образовалось время заправиться, и почему-то стукнуло мне потащиться в молочный бар. Вообще-то я по таким барам не ходок. Нас, братию «от-пяти-до-десяти-в-неделю», не очень в этих новомодных столичных кафе привечают. Если приспичило вдруг спустить шиллинг на жратву, тебя в каком-нибудь «Лайонзе», «Экспресс дэри», «Эй-би-си»^[6] или любом подобном, до смерти тоскливом заведении обслуживают у буфетной стойки, кинут небрежно пинту горького и ломоть пирога, который еще холоднее пива. Снаружи молочного бара орали мальчишки с пачками свежих вечерних выпусков.

За сверкающей багровыми лампочками стойкой девица в белом колпаке возилась у холодильника. Позади нее играло радио, шпарило неотвязно: пум-блям-блям-пум. Сразу подумалось: «Какого хрена я сюда приперся?» Атмосфера этих закусовых на меня давит. Все гладко, голо, обтекаемо; куда ни глянь – эмаль, стекла зеркал, хромированный никель. Затраты все на антураж, ноль на провизию. Настоящей еды вообще нисколько. Только прейскурант ерунды с американскими названиями, дряни без запаха и вкуса, в которую едва поверишь, что съедобно. Продукты из коробок и жестянок, или из замороженных брикетов, или из

тубиков. Ни уюта, ни удобства. Сидишь тут на высоком табурете, как на жердочке, нормально не поесть, со всех сторон зеркальный глянец. Короче, с одной целью тебе глаза слепит, уши мозолит бренчанием радио – еда не важно и комфорт не важно, ничего важного на свете нет, кроме того, чтоб обтекаемо блестело и быстрее, попроще, поточным методом. Везде теперь эта вот гладкая штамповка, даже в пулях, что Гитлер для тебя припас. Я заказал большую чашку кофе и порцию сосисок. Девушка в белом колпаке шваркнула мне еду с такой любезностью, с какой сушеных личинок сыплют рыбкам.

Мальчишка-газетчик вопил у входа: «Сенсационно-новости!» Трепетал лист с крупным газетным заголовком: «ДЕЛО О НОГАХ. НОВЫЕ СТРАШНЫЕ ОТКРЫТИЯ». Ну ясно, опять «о ногах». Хорош сюжетец. Два дня назад нашли в пакете на вокзале ноги какой-то женщины, и тут же хлынул поток статей – народу ж, понятное дело, нет ничего нужнее, интересней, чем про отрезанные ноги. Главная новость наших дней. Странно, однако, думал я, жуя пресную булочку, до чего скучные теперь пошли убийства. Все эти трупы, расчлененные, частями раскиданные по разным местам. Ни следа старинных добротных драм с кинжалами и флакончиками яда, с жуткими страстями Криппена, Седдонов или миссис Мэйбрик^[7]. Явный упадок. Похоже, убийства шикарного не совершить, если не верить, что за свое злодеяние будешь вечно в аду жариться.

В этот момент я надкусил свою сосиску... Черт!

Честно сказать, на особо приятный вкус я не рассчитывал. Ожидал – просто жвачка вроде булки, но это! Ладно, провел опыт на себе. Сейчас попробую описать ощущения.

Сосиска, разумеется, была тугая, будто резиной обтянута, и мои временные зубы тут не совсем годились. Пришлось кромкой зубов как бы пропиливать шкурку. И вдруг из-под нее – плюх! Как из лопнувшей гнилой груши. И весь рот полон какой-то мягкой гадости. А вкус! Секунду я прямо не мог поверить, потом снова потрогал языком – ну точно, *рыба*! Сосиску, то есть мясную колбаску, набили рыбным фаршем! Я встал и вышел, кофе даже не попробовав. Бог знает из чего его сварили.

На улице мальчишки бросились совать мне выпуск «Знамени», выкрикивая: «Ноги! Подробноssi шокируют! Призеры скачек! Полный список! Ноги! Улики ужасают! Ноги!» Я все еще шагал с набитым ртом, соображая, куда бы выплюнуть. Помнится, было как-то в газетах насчет германских пищевых фабрик, где продукт ухитряются изготавливать из чего-то другого. У немцев это называется «эрзац». И помнится, про *немцев* я читал, что колбаса у них из рыбы, а в рыбе, уж конечно, ничего рыбного. В

общем, такое чувство появилось, что надкусил я современный мир и обнаружил, из чего он на самом деле. Общий настрой нынче: все оптимально, обтекаемо, с глянцем и обязательно из заменителя. Резина, целлулоид, всюду блеск хромированной стали, ночь напролет светятся дуговые лампы, крыши стеклянные, по радио дудят модный мотивчик, вместо травы сплошь асфальт да цемент, вместо наваристого супа соки «нейтральных фруктов». А как порой до сути доберешься – испробуешь на вкус что-то надежное, ну, например, сосиску, – поймешь, что получил. Тухлую рыбу в резиновой коже. Взрывы помойных бомб во рту.

Со вставленными новыми зубами мне стало чуть получше. Протезы сидели хорошо, плотно к десне, и хоть нелепо звучит, что искусственная челюсть бодрит и молодит, но так и было. Я попробовал улыбнуться сам себе, глядясь в витрину, – а что, не так уж плохо! Уорнер берет дешево, но, можно сказать, артист в своем деле и не стремится сделать из тебя рекламу зубной пасты. У него, он однажды мне показывал, шкафы набиты фальшивыми зубами, разложено все по ранжиру согласно размерам и оттенкам, и он их подбирает, как ювелир камни для ожерелья. Девять из десяти примут мои зубы за натуральные.

Я увидел себя в очередной витрине во весь рост, и вид мой показался вдруг вполне даже пристойным. Грузноват, не поспоришь, но не туша – просто, как говорят портные, «полная фигура», – а морда красноватая, так некоторым женщинам как раз такие вот здоровяки и нравятся. Нет, жив еще старый пес! Вспомнив про заветные семнадцать фунтов, я точно решил – потрачу на баб. Тем временем настал час принять пинту до перерыва в пабах (надо ж новые челюсти обмыть!), и чувство богача с порядочной заначкой вдохновило зайти в лавку купить сигару за полшиллинга. К этим сигарам у меня слабость, они длинные, восемь дюймов, с гарантией «Гаванский табачный лист». Хотя, подозреваю, и в Гаване капустного листа полно.

Из паба я вышел совершенно разомлевающим. От пары пинтовых кружек внутри потеплело, втекавший меж новых зубов дымок сигары омывал душу блаженным покоем. Потянуло на философию (это отчасти потому, что мог бездельничать). Снова, как утром в поезде при виде летевшего бомбардировщика, потекли мысли о войне. Но настроение уже было другое, такое настроение, когда пророчишь насчет близкого конца света и тебе это не без удовольствия.

Шел я по Стрэнду, и хотя было холодновато, шел медленно, чтоб наслаждаться своей сигарой. Вплотную туда и сюда сновали люди с обычным у лондонских прохожих безумным выражением лица, посреди

мостовой образовалась обычная пробка с автобусами, что пытались продвинуться в гуще автомобилей, и таким шумом ревущих моторов, сигналивших гудков, что мертвец бы проснулся. Но этих не разбудишь, думал я. Казалось, я единственный живой в селении лунатиков. Так только кажется, конечно. Шагая в незнакомой толпе, очень даже легко вообразить, что вокруг Музей восковых фигур, но ведь, наверно, каждая персона про тебя то же думает. И это вот пророческое настроение, которое меня последнее время одолевает – чувство, что война на подходе и скоро всему конец, – это ж не только у меня. Всех это гложет, так или иначе. Должно быть, и сейчас здесь идут те, кому видятся взрывы и горы щебня. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. И все же мне казалось: народ на пылающей палубе, а пожара никто не видит, кроме меня. Я смотрел на лица спешащих мимо болванов – точь-в-точь индюки за пару недель до рождественских ужинов. Словно рентгеновским лучом мой глаз просвечивал их, видел насквозь.

Представилась эта самая улица лет через пять или поменьше после начала боев (заварится каша, как ожидают, в 1941-м).

Нет, не дотла. Так, небольшие изменения: все стало каким-то обшарпанным и грязным, витрины почти пусты, и столько пыли на их стеклах, что уже не посмотришься. В переулке огромная воронка от бомбы, стены сгоревшего здания торчат как сгнивший зуб. Муравьиная жизнь. На удивление тихо, и народ весь заметно отоцал. Солдатский взвод марширует по мостовой, ребята худые как щепки, еле башмаки волочат. Сержант с усами штопором осанку строевую держит, но тоже тощий и зашелся кашлем чуть не до рвоты. Перебарывая кашель, сержант пытается орать на подчиненных в стиле прежних учений на плацу: «Башку подыми, Джон! Чего ты по земле глазами шарить? Окурков уже год как не найти». Тут его снова настигает приступ кашля, ему не справиться, его сгибает пополам, кашель чуть кишки не вытряхивает, багровое лицо синее, усы виснут сосульками, из глаз слезы.

Я слышу вой сирен, предупреждающих о воздушном налете, и зычный бас из репродуктора, оповещающий о том, что наши славные солдаты захватили сто тысяч пленных. Я вижу комнатуху в Бирмингеме, мальчика, что без умолку хнычет, клянча хлеба, и мать, которая, не выдержав, вопит: «Заткнись ты, выродок!», а потом, задрав сыну рубашонку, хлещет его по заднице, поскольку хлеба у нее ни крошки и не предвидится. Я вижу все это. Вижу плакаты и очереди за продуктами, вижу касторовое масло, резиновые дубинки и дула строчащих из верхних окон пулеметов.

Грянет такое? Кто же знает. Бывают дни, когда просто нельзя поверить,

когда я сам себе говорю – это газеты панику наводят. Бывают дни, когда я нутром чую – не избежать.

На подходе к Чаринг-кросс мальчишки выкрикивали заголовки более поздних выпусков. Естественно, опять чушь про убийство: «НОГИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ХИРУРГА». В глаза бросилась еще одна новость на газетной афише: «СВАДЬБА КОРОЛЯ ЗОГА ОТЛОЖЕНА». Король Зог! Ну и имечко! С трудом представишь, что этот албанский парень не черный как смоль африканец.

Тут случилась странная вещь. Каким-то манером это самое все время мелькавшее «король Зог» смешалось с уличным шумом, или запашком конского навоза, или еще с чем-то, и вдруг всплыло воспоминание.

Любопытная штука – прошлое. Оно всегда с тобой; думаю, часа не проходит без мысли о чем-то, что было десять-двадцать лет назад. Причем обычно это будто не из жизни, а из учебника истории. Но иной раз какой-нибудь вид или запах (в особенности запах) – и ты не просто вспомнишь, ты *окажешься* там, в прошлом. Ну так вот.

Я снова стоял в нашей приходской церкви Нижнего Бинфилда. Внешне по-прежнему шагал по Стрэнду, толстый и сорока пяти лет, в котелке и с зубным протезом, но внутри опять сделался семилетним Джорджи, младшим сынишкой Сэмюеля Боулинга («С. Боулинг: торговля кормовым зерном и семенами», Нижний Бинфилд, Главная улица, 57). Было воскресное утро, я стоял, тянул носом специфический церковный воздух. Как он хлынул мне в ноздри! Этот известный всем церковный запах сырости, пыли, сладковатого тлена. Запах, отдающий свечным салом, присутствием мышей и порой дымком ладана, а утром по воскресеньям еще глицериновым мылом и платьями из саржи. Но прежде всего сладковато-затхлая смесь, словно жизнь пополам со смертью. И впрямь ведь в воздухе витали частицы могильного праха.

В те времена я ростом был четыре фута, стоял на кожаной, для коленопреклонений, подушечке, чтобы видеть поверх спинок скамей, держался за черное саржевое платье матери. Как сейчас чувствую на коленках тугие чулки (в будни-то мы их не носили) и трущий шею круглый белый воротник, который мне нацепили по случаю воскресенья, слышу хриплый орган и оглушительное пение дуэтом. В нашей пастве сильными голосами отличались двое – Шутер, торговец рыбой, и Уэзерол, столяр-гробовщик, – которые в хоровом исполнении псалмов гремели так, что остальным попеть почти не доставалось. Садились они всегда на первую скамью, на разные ее концы, и сами были до странности разные. Шутер – толстый румяный коротышка с огромным носом, вислыми усами и считай

что без подбородка. А Уэзерол – жилистый, долговязый старый черт уже за шестьдесят, серый как мертвец, с коротким густым ежиком седых волос. Я никогда не видел человека, так похожего на скелет. Все кости черепа видны под пергаментной кожей, громадные челюсти с полным набором желтых зубов ходят вверх-вниз, как у скелета в музее анатомии. И при всей своей худобе выглядел столяр таким крепким, что ясно было: сто лет проживет и всем сидящим рядом успеет гробы настрогать. Пели они тоже в контраст. Шутер отчаянно вопил, словно ему нож к горлу приставили, был, заливался. А Уэзерол грохотал, будто тяжеленные бочки по подвалу катались. Причем, как бы он ни ревел, вы понимали – сможет еще наддать. Дети его прозвали Громышалой.

У солистов наших была привычка под конец псалма этак заспорить, схватиться голосами (побеждал всегда Уэзерол). В жизни, я думаю, они были приятели, но мне, ребенку, казалось тогда, что бьются смертельные враги. Шутер звонко выкрикивал, к примеру: «Господом я ведом», – а Уэзерол раскатистым басом вступал: «И нет мне более нужды ни в чем», – и совершенно подавлял соперника. Я всегда с нетерпением ждал тот псалом, где упоминаются царь Сигон и царь Ог (а, вот ведь почему имечко «король Зог» мне память растревожило). Шутер затягивал: «Сигон, царь Аморрейский...» – на долю секунды прорезалось спетое хором прихожан «и», а затем накрывающим все морским валом рушился бас Уэзерола: «О-ог, царь Васанский». Не передать, как у него гремело-грохотало это «О-о-ог». Мне-то по малолетству слышалось «дог» и представлялся страшный царский пес. Позже, когда уже я догадался про имена царей, Ог и Сигон мне виделись, как статуи египетских фараонов в картинках школьной энциклопедии, – восседающие друг против друга каменные гиганты с положенными на колени руками и слабой загадочной улыбкой на неподвижных лицах.

Как оно меня всколыхнуло! Это чувство, не что иное, а вот чувство, живое ощущение – «церковь». Сладкий душок тления, шелест воскресных платьев, хрип органа, волны поющих голосов, медленно переползающий по плитам пола лучик света из дырки в оконном витраже. Каким-то уж образом взрослые умели впихнуть в тебя, что все эти странные спектакли необходимы. И ты как должное принимал эти действия и Библию, которая тогда давалась в изрядных дозах. На каждой стене были тексты из Ветхого Завета, так что целыми главами помнились наизусть. До сих пор у меня голова набита обрывками библейских фраз. «Вновь содеяли злое в очах Господа сыны Израилевы» – «Асир, покойно пребывающий» – «собрались тогда все отовсюду, от Дана до Беэр-Шевы» – «и поразил его под пятое

ребро, и умер Авенир»... Ничего было не понять, да вроде и не требовалось. Полагалось только глотать эту микстуру, снадобье из невесты чего, и ты глотал, верил – зачем-то надо. Всякая несуразица про людей с именами Шемай, Ахитофель, Навуходоносор, еще какой-нибудь Абракадабр – диковинных людей с волнистыми бородами, в длинных жестких одеяниях; людей, которые все ездят на верблюдах среди храмов и кедров или проделывают разные невероятные штуки. То они молитвы возносят на жертвенных кострах, то гуляют в горячей печке, то висят, приколотые на крестах, то их киты глотают. И все это со звуком хрипло рычащего органа, приторным душком кладбищенского тления, запахом платья из новой саржи.

Вот в какой мир я возвратился, увидев газетный анонс про короля Зога. На несколько секунд буквально там *побывал*. Такие вещи, конечно, долго не длятся. Миг-другой, и я будто разомкнул сонные глаза: снова мне было сорок пять, снова передо мной теснилась пробка на Стрэнде. Но след это оставило. Обычно вынырнешь из воспоминаний и очнешься, но теперь чувствовалось по-другому: словно бы я действительно вдохнул воздух 1900-го. Даже когда я, так сказать, проснувшись, опять смотрел на снующих туда-сюда болванов и в нос мне была вонь бензиновых моторов, суতোлка эта мне казалась менее реальной, чем воскресное утро в Нижнем Бинфилде тридцать восемь лет назад.

Сигару я отшвырнул, шел медленно. А сладковатым душком тлена тянуло по-прежнему. Он, этот запах, понимаете ли, продолжал мне ноздри щекотать. И я опять там – Нижний Бинфилд, 1900 год. Возле кормушки на Рыночной площади лошадь возчика жует из торбы овес. В лавке сластей на углу мамаша Уилер отвешивает на полпенса сахарных коньячных шариков. Катит экипаж леди Рэмплинг, на запятках ливрейный грум, покойно пребывающий, надменно скрестив руки. Дядя Иезекииль честит Джо Чемберлена^[8]. Сержант новобранцев, в шапке коробом, алой куртке и синих кавалерийских штанах, гордо прохаживается, крутя ус. На заднем дворе гостиницы «Георг» тошнит пьянчужек. Вики в Виндзоре^[9]. Бог на небесах. Христос на кресте. Анания, Азария и Мисаил в пылающей печи^[10]. Сигон, царь Аморрейский, и Ог, царь Васанский, восседают друг против друга на каменных тронах – просто сидят: надежно, нерушимо существуют на своих назначенных местах наподобие пары подставок для каминных дров или Льва и Единорога^[11].

Прошлое наше уходит навсегда? Да вряд ли. И одно вам скажу – славный это был мир, жилось в нем славно. Я весь оттуда. Как и вы.

Часть вторая

1

Жизнь, которая вдруг вспомнилась при виде заголовков с именем короля Зога, так отличалась от моей жизни сейчас, что даже нелегко поверить в мое родство с той давней далью.

Вы уж, наверно, мысленно смогли меня представить – немолодой красномордый толстяк со вставной челюстью, и вам заодно видится, что я такой от колыбели. Но сорок пять лет – большой срок, и хотя есть люди, что не особенно меняются, другие – еще как. Я сильно менялся с годами. Меня швыряло вверх и вниз; чаще, надо сказать, наверх. Смешно звучит, но мой отец наверняка гордился бы мной нынешним. Ему казалось бы роскошным, что у его сына автомобиль, что проживает сынок в доме с ванной. И в данный момент мое положение выше родительского уровня, а бывали деньки, когда я так поднимался, как нам даже не грезилось перед войной.

Перед войной! Интересно, сколько еще у нас будут так говорить? Сколько лет, пока не начнут обязательно переспрашивать: «Какой войной?» Теперь уж мечтать не приходится, чтобы, услышав «перед войной», почти всем окружающим подумалось бы – перед Бурской^[12]. А я, родившийся в 1893-м, ведь помню грянувшую войну с бурами, начало ее врезалось мне в память из-за бешеных споров отца с дядей Иезекииелем. Помнится кое-что и еще более раннее.

Самое первое – специфический мякинный запах травяных семян. Он был все гуще на пути по кирпичному коридору из кухни в магазин. Мать перегородила тот проход решетчатой калиткой, чтоб не пускать нас с Джо, моим старшим братом, к товару и покупателям. Помню, как я стоял, держась за брусья решетки, как сильно пахло семенами и сыровой штукатуркой. Однажды я все-таки умудрился калитку открыть, пробраться в пустой на тот час магазин. Копошившаяся в ларе мышь вдруг выскочила и пробежала прямо между моими башмаками, вся белая от муки. Было мне тогда лет шесть.

В раннем детстве ты как-то внезапно, одну за другой осознаешь вещи, которые все время тебя окружали. К примеру, лишь года в четыре я понял вдруг, что у нас есть собака. Звали пса Удальцом, старый белый английский

терьер, эта порода теперь вывелась. Наткнувшись как-то на него под кухонным столом, я именно в тот момент неожиданно и непонятным образом постиг – наш пес, наш Удалец. Тем же манером я чуть раньше уразумел, что за калиткой в конце коридора есть некое помещение, откуда идет мякинный запах. Сам магазин, огромные весы, деревянные мерки, надписи мелом на окне и украшающий витрину снегирь в клетке (которого, впрочем, непросто было рассмотреть с улицы через вечно пыльное стекло) – все постепенно, поочередно укладывалось в голове наподобие составных частей мозаики-головоломки.

Время идет, ноги крепнут, и начинаешь мало-помалу осваивать местную топографию. Наш Нижний Бинфилд в Оксфордшире был типичным торговым городком с населением в пару тысяч жителей (забавно – я говорю «был», хотя он никуда не делся). Городок в долине, милях в пяти от Темзы, со стороны реки пологая бугристая возвышенность, с другой – гряда холмов. Там, наверху, среди синеющей массы лесов белел большой дом с колоннадой – Бинфилд-хаус (у нас его называли «Усадьбой»), и хоть селение на холме давным-давно исчезло, бывшее его место продолжало именоваться Верхним Бинфилдом. Мне, должно быть, исполнилось семь, когда я впервые заметил Бинфилд-хаус. Малышам вдаль смотреть неинтересно. Зато свой город – располагался он крестом с площадью в центре – я уже знал до последнего дюйма. Наш магазин стоял на Главной улице, вблизи от рынка, а на углу была лавка сластей миссис Уилер, где спускались перепадавшие тебе полпенни. Мамашу Уилер, неопрятную старую хрычовку, народ подозревал в обсасывании леденцов, кладущихся обратно в банку, хотя с поличным старуху ни разу не поймали. Ниже нас по улице находилось заведение цирюльника, зазывавшее рекламой сигарет «Абдулла» (той самой, с изображением египетских воинов, что, как ни странно, используется по сей день), шибавшее из двери ароматом лавровишневой воды и душистого арабского табака «Латакия». На краю городка торчали трубы пивоваренного завода. Посреди Рыночной площади имелась поилка для лошадей, с неизменно плававшим в каменном корыте толстым слоем соломенной трухи и пыли.

Перед войной, в особенности перед Бурской войной, круглый год стояло лето. Умом я знаю, что не так, просто стараюсь передать свое ощущение. Нижний Бинфилд моих дошкольных лет всегда видится мне в летнюю пору. Или это обеденный час на рынке, когда царит особенная, сонно-пыльная тишина и лошади жуют, зарывшись мордами в длинные торбы; или полуденный зной на цветущих окрестных лугах; или ранние сумерки на тропке между живыми изгородями, когда в воздухе плывут

струйки дыма из курительных трубок и сквозь кусты сочится аромат ночных левкоев. Вообще-то я могу припомнить кой-какие картинки не только летних месяцев, но исключительно в связи с не прекращавшимся целый год поиском всевозможной съедобной добычи. Усерднее всего мы рыскали возле изгородей. В июле попадалась ежевика (редкий трофей) и уже краснела, годилась кинуть в рот черная смородина. В сентябре, конечно, ягоды терна и лесные орехи – самые крупные орешки никогда было не достать. Затем буковые орехи и дикие яблоки. Кроме того, корма похуже, но тоже потребляемые за неимением лучшего. Совсем невкусные ягоды боярышника и кисленькие, довольно приятные (главное тут – не прикусить семян с ворсинками) плоды шиповника. В начале лета, особенно когда пить хочется, хорошо пожевать дудник или стебельки разной травы. Отлично идет к хлебу с маслом щавель, а также кислица и земляной каштан. Даже семена подорожника лучше, чем ничего, если оголодал, а до дому еще неблизко.

Джо был на два года старше меня. Пока мы не подросли, мать нанимала гулять с нами Кейти Симонс. Отец Кейти вкалывал на пивоваренном заводе, у них было четырнадцать детей, так что все члены семьи постоянно искали, где бы подработать. Мне было пять, Джо – семь, а нашей няньке лишь двенадцать, и умственным развитием она не слишком нас превосходила. Крепко державшая меня за руку и называвшая «деткой», Кейти имела полномочия не подпускать нас к быкам и держать подальше от дороги с колесными экипажами, но разговаривали мы почти на равных. Обычно мы отправлялись в поход – по дороге, разумеется, не пропуская ничего съедобного – тропинками между участков, потом через Роперские луга до мельничного пруда, где водились тритоны и крошечные караси (став постарше, мы с Джо ходили туда на рыбалку), а возвращались непременно мимо находившейся на краю городка кондитерской. Место было для магазина столь невыгодное, что владельцы его один за другим разорялись. На моей памяти, в очередь с трижды возрождавшейся торговлей сладостями там были и бакалея, и ремонт велосипедов. Но нас к кондитерской влекло волшебной силой. Даже без единой монетки мы обязательно подходили плющить носы о витринное стекло. Кейти не важничала, равноправно участвуя как в покупке сластей на фартинг^[13], так и в ссорах из-за дележки. А сколько изумительных вещей можно было тогда купить на фартинг! Большинство сладостей продавалось – четыре унции за пенни, а «райской смеси» (обломков из разных банок) за пенни отвешивали аж шесть унций. И еще фартинговые тянучки, которые растягивались на целый ярд и таяли во рту не меньше получаса. И

сахарные мышки или свинки по восемь штук за пенни, и ликерные бомбочки, и большие кульки попкорна за полпенса, и «приз-пакеты», в которых среди россыпи разных конфет счастливым иногда доставалась свистулька. Тех «приз-пакетов» больше не увидишь. Целые виды их, прежних сластей, исчезли. Пропали сладкие белые пластинки с выдавленными на них девизами, кануло липкое розовое лакомство в овальных коробочках со специальными малюсенькими оловянными ложечками. Сегодня уже едва отыщешь на прилавках шоколадные трубочки, палочки постного сахара, фруктовые батончики с тмином и даже «пестрое драже». Именно «пестрое драже» предпочиталось, если капиталы не превышали фартинг. А «Великан»? Куда девался «Великан»? Эта огромная бутылка, вмещавшая больше кварты шипучего лимонада, стоила всего пенс. Убито, тоже убито войной.

Да, оглянувшись назад, я всегда почему-то вижу лето. Трава вокруг в мой рост, от земли пышет жаром. Пыль на тропинке и теплый зеленоватый свет сквозь густую листву орешника. Вижу нас, всех троих, бодро топающих, жующих добытое по пути возле изгородей. Кейти тянет меня за руку, потирает: «Давай, детка, давай шибче!» – и кричит вслед убежавшему вперед брату: «Джо, сей момент обратно! Эй, получишь у меня!» Крепыш с большущей головой и толстыми икрами, Джо был любитель поозорничать. В семь он уже носил короткие штаны, плотные чулки до колен и грубые башмаки, полагавшиеся мальчишкам. А меня мать все еще наряжала в платице-рубашонку из сурового полотна. Кейти обычно щеголяла в доставшемся от старших сестер драном и линялом подобии взрослой одежды; косички торчали из-под большой дурацкой шляпы, замызганная юбка волочилась по земле, шлепали стоптанные ботинки на кнопках. Она была пигалицей, ростом чуть выше Джо, но за детьми «смотрела» неплохо. В семьях ее круга ребенок начинает «смотреть» за младшими, сам едва научившись ходить. Время от времени Кейти пыталась нас воспитывать, отучая от дурных манер сражающими наповал, как ей казалось, присловьями и поговорками. Стоило тебе буркнуть «наплевать», от нее тотчас следовало:

Надоел всем Наплевать,
Его взяли, повязали,
В горшок кинули, варили,
Пока не сварился!

Если ты ей грубил, она назидательно замечала: «Грубое слово кость не ломит», если хвастался – «Гордись-гордись, да упасть берегись». Справедливость последней поговорки я подтвердил однажды, когда важно маршировал, изображая генерала, и рухнул в тинистый коровий пруд. Семейство Кейти ютилось в жалком крысятнике среди хибар за пивоваренным заводом. Ребятни там кишело как паразитов. Все дети сумели отвертеться от школы (это, надо сказать, в те времена было довольно легко) и с малолетства шустрили, добывали кто что мог. Один брат месяц отсидел за кражу репы. Кейти перестала водить нас на прогулки через год, когда восьмилетний Джо, разнухав, что у них дети спали по пятеро в одной кровати, начал неотвязно дразнить ее.

Бедная Кейти! Впервые она родила в пятнадцать лет. Никто не знал, кто отец, да и сама она, наверно, сомневалась. Судачили, что, мол, кто-то из братьев. Младенца забрали в приют, а Кейти нанялась прислугой в Уолтон. Некоторое время спустя она вышла замуж за лудильщика, чем опустилась на ступеньку ниже даже родимого семейства. Последний раз я видел ее в 1913-м. Крутя педали, я проезжал через Уолтон вдоль железной дороги, мимо стайки дощатых лачуг за оградой из бочарных клепок (там иногда, когда дозволялось полицией, устраивали стоянку цыгане). Морщинистая оборванка, с чумазым лицом и висящими космами, вышла на порог вытряхнуть циновку. Это была Кейти, которой не исполнилось и двадцати семи.

По четвергам бывали базарные дни. С рассвета мордатые обветренные парни в грязных блузах и тяжелых, заляпанных навозом башмачищах длинными прутьями орешника гнали скотину. Поднимался шум и гам: лаяли собаки, визжали свиньи, ругались и щелкали кнутами, пробиваясь сквозь толкотню, возчики товарных фургонов; орали, тряся палками, все, кто так или сяк суетился возле скота. Особая суматоха возникала, когда вели быка. Даже в том нежном возрасте я сообразил, что большинство быков, животных безобидных и послушных, хотели лишь мирно добраться до стойла, но бык ведь не считался бы быком, если бы половина города не кидалась гнать, загонять его. Иной раз напуганный бык (обычно – молодой телок) со страху разворачивал и пытался сбежать, тогда весь находившийся поблизости народ толпой перегораживал дорогу, бешено махая руками с криком: «У-у! У-у!» – что, как предполагалось, гипнотически умирало

быка и действительно приводило в оцепенение.

К середине утра у нас в магазине появлялись фермеры – смотрели, взвешивали на ладонях образцы семян. Без фургона и без возможности давать кредит надолго отцу не удавалось развить дело. Выручка в основном шла от мелких продаж: корм для домашней птицы, конский фураж и тому подобное. Непременно захаживал старик Брувер с мельничной фермы: обросший седой щетиной гнусный скряга по полчаса перебирал в горсти зерно для кур, с рассеянным видом просыпая его себе в карман, и уходил, не купив, разумеется, ни зернышка. Вечером пабы набивались выпивохами. Все годы Бурской войны, каждый вечер четверга и субботы возле пивной стойки в «Георге» стоял сержант-вербовщик, парадно разодетый и чрезвычайно щедрый. А наутро сержант вел за собой какого-нибудь багрового от стыда юного деревенского увальня, который вчера по пьяной дурости взял шиллинг, а нынче обнаружил, что откупиться ему будет стоить двадцать фунтов. Наблюдатели этой сцены с порогов своих домов качали головами, словно видели похороны: «Хорош! В солдаты записался! А был ведь славный паренек!» Событие ужасало. Пойти в солдаты среди моих земляков считалось столь же постыдным, как девушке выйти на панель. Отношение к армии, к войне вообще, было довольно любопытное. С одной стороны, люди держались старинных добрых понятий, согласно которым красный мундир – позорище, и всякий его надевший непременно сопьется, прямиком угодит в ад. Но эти же люди были пламенными патриотами, вывешивали из окон «Юнион Джека»^[14] и свято верили, что англичан никто еще не побеждал и победить не может. В те годы все, включая даже неконформистов из самых строгих сект, пели сентиментальные песенки насчет тающей вдаль тонкой красной линии и погибающих в чужой земле юных бойцов. Гибель героя обычно случалась, когда «грянули пушки, ядра засвистали», и эта деталь битвы ставила меня в тупик. Про пушки я понимал, но ядра представлял лишь ореховые, а потому немало озадачивался картиной каких-то свистящих орехов. Известие о взятии Мафекинга^[15] вызвало общее буйное ликование, вполне естественное для людей, доверчиво внимавших байкам о бурах, которые, подкинув младенцев в воздух, насаживают их на штыки. Старика Брувера так затравили дети, вопившие ему: «Бур бородатый!» – что он наконец соскоблил свою щетину. Отношение к верховной власти тоже было своеобразное. Как истинный англичанин, любой поклялся бы, что Вики – лучшая королева всех времен, а народ за границей – сплошь шушера, однако никто не подумал бы платить налоги, даже зарегистрировать собаку,

найдя способ как-нибудь это обойти.

Хотя и до и после войны Бинфилд относился к традиционно либеральным избирательным округам, на дополнительном голосовании в войну победу одержали консерваторы. Ничего тут не соображая, я тоже был за консерваторов, поскольку их синие плакаты нравились мне больше красных, а денек тот запомнился мне из-за одного пьяного, ничком рухнувшего возле паба. В общей выборной суете было не до него, и он долго лежал там, в луже алой, постепенно лиловевшей на солнце крови. К выборам 1906-го я уже кое-что уразумел и был истовым либералом, как все вокруг. Народ полмили гнался за кандидатом-консерватором, под конец триумфально сброшенным в пруд. Политику тогда воспринимали всерьез, тухлые яйца начинали припасать за несколько недель до выборов.

Помню скандальный спор, разгоревшийся между отцом и дядей Иезекииелем при вести о начале Бурской войны. У дяди Иезекииля была притулившаяся в стороне от Главной улицы небольшая сапожная лавка (продажа и мелкий ремонт обуви), бизнес скромнейший, к тому же явно хиревший, что, впрочем, не особенно волновало, так как дядя навек остался холостяком. Отцу он доводился сводным братом, был старше его лет на двадцать и на моей памяти выглядел всегда одинаково: красивый, довольно высокий старикан с необычайно белыми, белоснежными, как пушок чертополоха, длинными бакенбардами; с манерой, хлопнув по кожаному фартуку, резко распрямиться (привык, видно, так разминать согнутый позвоночник) и кинуть вам в лицо свое особое мнение, завершая слова кудахчущим смешком. Подлинный либерал XIX века, способный не только поддеть вопросом «Что сказал Гладстон^[16] в 1878 году?», но и точно ответить. Один из немногих в Нижнем Бинфилде, кто всю войну стойко держался либеральных взглядов, он вечно обличал Джо Чемберлена и консерваторскую банду, именовавшуюся у него «швалью с Парк-лейн». Так и слышу его трубный голос в споре с отцом: «Их, понимаешь ли, великая империя! Великовата что-то для меня, кхе-хе-хе!» А затем тихий, встревоженный и, так сказать, добропорядочный голос отца, напоминающего о бремени белого человека, о нашем долге помочь бедным чернокожим, которых зверски третируют эти бурские свиньи. После того как дядя Иезекииль обнаружил себя сторонником буров и ярым противником империи, они с отцом почти неделю не общались. Следующий бурный разговор произошел в связи со слухами о диких вражеских злодеяниях. Отца эти рассказы страшно разволновали, он попытался снова воззвать к дяде. Мол, хороша империя или не хороша, но можно ль допустить, чтобы буры подкидывали и насаживали на штыки

младенцев, хотя бы и негритят? В ответ дядя Иезекииль только расхохотался – чушь! Малюток истязают не буры, а британские солдаты! Для наглядности дядя схватил меня, стоящего рядом, вскричав: «Да-да! Швыряют – и на вертел, как лягушек!» Подкинутый, взлетевший в воздух, я очень живо представил себе, как сейчас плюхнусь на острый штык.

Отец ничем не походил на дядю Иезекииля. Отцовских родителей я не знал, оба умерли до моего рождения, мне было известно лишь то, что дед сапожничал, а затем, уже в солидном возрасте, женился на вдове торговца семенами, чей магазин теперь принадлежит нам. Торговля не отвечала натуре отца, хотя само дело он изучил досконально и трудился не покладая рук. Кроме праздничных дней и каких-то отдельных вечеров он всегда видится мне с забившей морщинки, припорошившей остатки его волос белой мучнистой пылью. На брачную жизнь отец решился, когда ему уже перевалило за тридцать, так что даже в самых ранних моих воспоминаниях он предстает по меньшей мере сорокалетним. Маленький, скромный, неприметный, всегда без пиджака и в белом фартуке, голова круглая, короткий нос, довольно густые усы и светлые волосы того же рыжеватого оттенка, что у меня, только на голове отца их оставалось совсем немного и они вечно были тусклыми из-за мучнистого налета. Поскольку дед, женившись на вдове владельца магазина, возвысился, отца отправили в уолтонскую грамматическую школу^[17] учиться вместе с сыновьями других местных торговцев или богатых фермеров. Громадный скачок вверх, если учесть, что его старший сводный брат, дядя Иезекииль, любил гордо рассказывать, как он, никогда не ходивший в школу, самостоятельно учился читать вечерами после работы, при свете сального огарка. Зато мозги у дяди были побойчей – он мог сразиться в споре с кем угодно, причем заваливал цитатами из Карлейля и Спенсера. А вот отец был тугодумом, «книжность» (его словечко) не освоил, да и с грамматикой не совсем разобрался. В воскресенье после полудня – единственное время, когда он позволял себе отвлечься от забот, – отец садился у камина «глянуть газетку». Его любимым еженедельником был «Народ», а у матери – «Всемирные новости», где больше рассказывалось об убийствах. Летний воскресный день (лето! конечно, всегда лето!), еще не выветрился запах тушеной с зеленью свинины, по одну сторону камина мать, начавшая читать про самое последнее жуткое преступление, но незаметно уснувшая с приоткрытым ртом, по другую – отец в очках и шлепанцах, медленно продирающийся сквозь дебри скверно отпечатанного текста. В воздухе летнее блаженство, на окне герань, с улицы щебет скворца, сам я под столом с детским приключенческим журнальчиком, и скатерть вокруг меня

свисает как полотно охотничьей палатки. К вечеру, закусывая редиской с зеленым лучком, отец раздумчиво перескажет прочитанное о пожарах, скандалах в высшем свете, новейших летательных машинах, о матросе (этим матросом, я заметил, газетчики многие годы угощают регулярно), который был проглочен китом, но трое суток спустя извлечен живым, хотя и сильно выбеленным в струях китового желудочного сока. Сомневаясь насчет истории с матросом, а также насчет летательных машин, всем прочим сообщениям газет отец доверял абсолютно. Кстати, до 1909 года никто в Нижнем Бинфилде не верил, что люди сумеют летать. Общее твердое мнение гласило: пожелай Господь, чтоб мы летали, сотворил бы нам крылья. И напрасно скептический дядя Иезекииль указывал, что захотелось же Богу, чтоб люди ехали, и дал колеса. Но, между прочим, в летательные машины не верил даже дядя.

Лишь по воскресеньям после церкви и, может, еще разок в неделю вечером отец заглядывал в «Георг» глотнуть полпинты. Ему было не до пива – с утра до ночи заботы о своем торговом предприятии. Честно сказать, дел было не особо много, однако он постоянно хлопотал: то возился в сарае, где хранились мешки с товаром, то, сидя в пыльном магазинном закутке, усердно вел подсчеты огрызком карандаша. Человек он был очень честный, очень совестливый, все время волновался, как бы кого не подвести, не обмануть, – даже в те времена не лучший способ преуспеть в бизнесе. Ему бы служить на какой-то мелкой официальной должности: почтмейстером или при станции. Ни рискнуть и занять денег для расширения дела, ни придумать нечто новенькое в форме продаж он не умел. Примечательно, что единственная искра его коммерческой фантазии – оригинальная кормовая смесь для певчих птиц (ставшая довольно популярной в городке и окрестностях «Смесь Боулинга») – на самом деле являлась идеей дяди Иезекииля. Дядя был любителем птиц, держал уйму щеглов в своей полутемной лавке, и это он измыслил теорию, по которой пичуги в клетках теряют цвет из-за однообразной пищи. Отец, разведя на заднем дворе, на грядках под провололочной сеткой десятка два различных сорняков, стал сушить травы и смешивать их семена с обычным канареечным семенем. Что ж, красовавшийся у нас в витрине рекламой «Смеси Боулинга» снегирь Джекки, в отличие от прочих отловленных собратьев, действительно нисколько не тускнел.

Мать, сколько я помню, всегда отличалась полнотой. Это, конечно, от нее мне достался избыток кислотности или чего-то там, что нагоняет жир.

Крупная, повыше отца и с волосами гораздо красивее отцовских, она еще отличалась пристрастием к черным платьям. Хотя, кроме воскресений,

ее не припомнить без передника. И всегда, ну практически всегда, она мне видится за стряпней. Вспомнив человека из своего давнего прошлого, представляешь его в каком-то особо свойственном ему месте, в особо характерном его состоянии, словно другим он вовсе не бывал. И как отец для меня обязательно сидит в закутке, припорошенный мучнистой пылью, и, сгорбившись, мусолит карандаш, а дядя Иезекииль, с его белоснежными бакенбардами, хлопнув себя по кожаному фартуку, резко распрямляет спину, так мать, когда я думаю о ней, вечно стоит у кухонного стола – месит, разделявает большущий ком теста.

Известно, какие раньше были кухни у людей: громадные, полутемные, с балкой поперек низкого потолка, с каменным полом и люком в подвал. Все тогда было громадным, или это мне, малявке, так казалось. Массивный каменный слив, где вместо крана железный насос, посудный шкаф во всю стену, гигантская плита, подолгу не желавшая раскошегариться, топлива пожиравшая полтонны в месяц. Мать у стола раскатывает очередной пласт теста; я ползаю вокруг, развлекаюсь поленьями, углем, охотой на таракашек (их было полно по всем темным углам, морили их, выманивая пивом) и поминутно лезу к столу, кляччу чего-нибудь пожевать. Мать не терпела этого: «куски хватать между едой» – и отгоняла меня: «Брысь! Не дам аппетит портить. Ты жадным глазом, а не животом есть хочешь». Но изредка мне все-таки перепадали кусочки обсахаренной корки.

Я очень любил наблюдать, как мать печет. Большое удовольствие смотреть на чью-то мастерскую работу. Вот поглядите-ка на женщину, знающую толк в готовке, – а для меня это та, что отменно с тестом управляется. Вид у нее важный и отрешенный, как у священника, ведущего обряд. Да она так себя и ощущает. Мощные, розовые, в густой мучной пудре материны руки действовали на изумление ловко. Яйцо выплескивалось из скорлупы, скалка каталась, начинка ложилась в точности как и куда надо. На кухне мать была, как говорится, в собственном мире, понимала там все до последней мелочи. Но мир за этими пределами, известный ей лишь по воскресным газетам или обрывкам слухов, для нее вроде как и не существовал. Хотя она читала лучше отца и не в пример ему, кроме газет, почитывала даже разные романтические повести, я уже лет с десяти стал удивляться ее невежеству. Она, конечно, не могла ответить, к востоку или западу от Англии находится Ирландия, и вряд ли до Бурской войны сумела бы назвать имя тогдашнего премьер-министра. И ни капельки не стремилась это знать. Читая о восточных странах, где чернокожие евнухи сторожат султанские гаремы, я подростком часто представлял себе, как поразила бы мать, узнав про

такие диковинные вещи, как возмутилась бы: «Ну и ну! Жен своих навеки запереть! *Додумались!*» Не то чтобы она совсем не понимала, кто такой евнух. Просто жизнь ее целиком кружилась в домашних стенах, причем, так сказать, на женской половине. Даже в нашем доме были места, куда она ногой не ступала. Никогда она не заходила в сарай с товаром, крайне редко бывала в магазине, и не припомню, чтобы мать когда-нибудь обслуживала покупателей. Она бы и не знала, где что взять; в зерне, еще не смолотом в крупу, она, наверно, и пшеницу от овса не отличила бы. Зачем? Торговля – отцовское дело, «мужская работа». А «женская» – заботиться о чистоте, еде, стирке и детях. Она бы в обморок упала при виде отца или другого мужчины, вдруг вздумавшего самолично пришить пуговицу.

Еда и все такое прочее у нас шло как часы. Нет, не как часовая железная механика, а каким-то естественным, природным ходом. Ты знал, что утром взойдет солнце, и точно так же – что на столе будет завтрак. Всю свою жизнь мать спать ложилась в девять, а поднималась в пять. Лечь или встать позднее – тут ей чудилось что-то дурное: барское, заграничное, порочное. Хотя она наняла Кейти Симонс водить нас с братом на прогулки, ее никто бы не уговорил взять себе помощницу по хозяйству. Нанятые, по ее глубокому убеждению, всегда оставляют грязь под шкафами. Еда у нас подавалась минута в минуту. До и после обильной трапезы обязательно молитва, и было за что благодарить – вареная говядина с клецками, ростбиф с йоркширским пирогом, баранина с каперсами, тушеная свиная голова, яблочный омлет, пудинг с коринкой, пудинг с джемом. Еще держались старинных правил воспитания. Во всяком случае, касательно детей, которым полагалось спуску не давать. И уж конечно, тебя выгоняли из-за стола, если ты слишком громко чавкал, или давился от жадности, или, наоборот, не желал есть нечто «полезное», или же «огрызался». Вообще-то у нас в семье суровых мер не применяли. Мать, правда, была чуть построже, но отец, вечно грозивший «взять прут да выпороть», был совершенно бессилен укротить нас, особенно Джо, сорванца и отпетого упрямца. Отец всегда лишь собирался «хорошенько вздуть» Джо, но дальше рассказов (вряд ли, мне теперь кажется, правдивых) о жутких порках, которые ему устраивал его отец, дело не заходило. А Джо к двенадцати годам стал таким силачом, что матери его уже было не отшлепать, и все попытки справиться с ним прекратились.

В те времена родителям надлежало день-деньской внушать детям, что тем «не позволено». Нередко слышались заявления того или иного папаши, обещавшего «дух вышибить» из сынка, коли поймает его на курении, краже яблок либо разорении птичьих гнезд. Иной раз подобные казни

совершались. Шорник Лавгроу, застигнув однажды своих пареньков, пятнадцати и шестнадцати лет, куривших под навесом, так отдубасил их, что вопли неслись на весь город. Сам шорник, кстати, был из заядлых курильщиков. Никаких результатов наказания не давали – мальчишки по-прежнему крали яблоки, разоряли птичьи гнезда и непременно учились курить, но правила, что с детьми надо строго, это не отменяло. Фактически любое стоящее занятие было под запретом. Послушать мать, так кроме «нельзя» абсолютно все, что нам еще хотелось делать, было «нет-нет, опасно!». Плавать опасно, опасно лазить на деревья, с гор кататься, играть в снежки, кататься, виснув на задках телег, стрелять из рогаток, даже рыбу удить опасно. Опасны также все животные за исключением пса Удальца, двух наших кошек и снегиря Джеки. Причем у каждой твари есть свой способ тебя покалечить: конь укусит, летучая мышь вцепится в волосы, ухвертка залезет в ухо, лебедь крылом ударит и сломает ногу, бык затопчет, змея ужалит. Все змеи, по уверению матери, «жалили», а когда я, показав школьную энциклопедию, объяснил, что у змей зубы, но жала вовсе нет, мне было велено не огрызаться. Ящерицы, веретеницы, жабы, лягушки и тритоны тоже жалят. Жалят также все насекомые, кроме блох и тараканов. Всякая еда, кроме той, что подавалась у нас на стол, отравы или «вредно». Сырой картофель – яд смертельный, как и грибы (если только они не из овощной лавки). От сырого крыжовника колики, от малины – сыпь. Примешь теплую ванну после ужина – умрешь от судорог; порежешься между указательным и большим пальцами – будет столбняк; вымоешь руки водой, где варились яйца, – пойдут бородавки. Почти сплошь ядовиты товары в нашем магазине (потому мать и перегородила калиткой ход туда). И жмыхом, и зерном для кур, и горчичным семенем сразу отравишься. Конфеты очень вредны, столь же вредно угощаться чем-либо не за столом. Хотя для одной сласти регулярно делалось исключение. Когда мать варила сливовый джем, нам разрешалось есть накопившие сверху густые пенки, и мы с Джо обжирались ими до тошноты. При том, что почти все на свете было опасно или ядовито, имелись кой-какие вещи со свойствами прямо волшебными. Так, сырой лук излечивал практически все хвори. Шерстяной чулок вокруг горла спасал от ангины. Серная добавка укрепляла собачий организм, и в поставленной Удальцу возле задней двери миске для воды годами на дне лежал, не растворяясь, комок этой целебной серы.

Чай мы пили в шесть. К четверем мать заканчивала дневные хлопоты, так что до шести могла передохнуть, выпить чашечку чаю и, как она говорила, «спокойно почитать свою газетку». Хотя по будням газеты ее не

очень интересовали. В будни печаталась хроника новостей, а громкие убийства случались редко. Другое дело – воскресные выпуски, редакторы которых сообразили, что читателю не особо важно, сегодняшняя это жуть или столетней давности, и потому, не получив свежего криминала, вытаскивали стародавний кошмар вплоть до доктора Палмера или миссис Мэннинг^[18]. Думаю, жизнь за пределами Нижнего Бинфилда представлялась матери состоящей главным образом из преступлений. Ужасные убийства зачаровывали мать, ошеломленно повторявшую, что «не придумать даже, до каких грехов люди доходят». Супруге горло перерезать, или отца родного под полом замуровать, или ребеночка в колодце утопить! Как только человек может творить *такое*! Паника в связи с Джеком-потрошителем полыхнула примерно тогда, когда родители поженились, и с тех пор нашу магазинную витрину на ночь всегда задвигали тяжеленными ставнями. Эти огромные деревянные ставни уже в ту пору исчезали, у большинства лавок на Главной улице их уже не было, но мать лишь так могла ощутить себя в безопасности. Ее до конца жизни не покидало подозрение, что Джек-потрошитель прячется в Нижнем Бинфилде. Дело Криппена – это было годы спустя, когда я почти вырос, – тоже буквально потрясло ее. «Искромсать бедняжку жену да в угольном подвале схоронить! Додумался! Ух, попадись он мне!» И, можете себе представить, при мысли о злодействе скромного американского врача, расчленившего тело жены (причем с необычайной аккуратностью вырезавшего все кости, а голову, помнится, утопившего в море), глаза матери наливались слезами.

По будням, однако, главным материнским чтением был «Друг и помощник Хильды», без которого не обходилась ни одна семья вроде нашей, который фактически продолжает жить в изданиях сегодняшних, еще более незатейливых женских газетенок. Полистал я тут на днях одну такую: кое-что иначе, а в основном по-старому. Те же бесконечные, растянутые на полгода истории с продолжением (и непременно со свадебным букетом под конец), те же «полезные советы», те же призывы срочно купить швейную машинку или спасительную мазь от ревматизма. Изменились только шрифт и картинки. Раньше красавице полагалось выглядеть на манер рюмки для яиц, а теперь наподобие пробирки. Откровения своего трехпенсового «Друга и помощника» мать читала медленно, уважительно. Сидя в стареньком желтом кресле (ноги на железной решетке, в очаге преет котелок с крепкой заваркой), внимательно читала в том порядке, как печаталось: очередной кусок сериала, пару рассказиков, полезные советы, рекламу пилуль и ответы читателям. Содержимого одного номера ей хватало на всю неделю, а то и больше.

Случалось, от тепла и монотонного гудения мух мать погружалась в дрему и, очнувшись без четверти шесть, тревожно вскидывала взгляд на стрелки каминных часов: боялась опоздать с чаем. Но чай у нас никогда не запаздывал.

В те годы (если точно – до 1909-го) отец еще мог позволить себе держать мальчика на побегушках и, наказав тому присматривать за магазином, выходил к чаю; на тыльной стороне его ладоней оставался пыльный, белесый налет мякинной трухи. Резавшая хлеб мать, на секунду прервавшись, кивала: «Скажи-ка молитву, отец». И отец, пока мы ждали, склонив головы на грудь, почтительно бормотал: «Возблагодарим Господа за милость – за все дары Его – аминь». Когда брат стал постарше, мать иногда предлагала: «Скажи-ка нынче *ты* молитву, Джо», – и брат бодро пищал что подобает. Самой матери возносить это благодарение не полагалось: здесь требовалась личность мужского пола.

Тогдашний летний полдень не представить без гудящих навозных мух. Санитарией Нижний Бинфилд не блистал. Городок насчитывал сотен пять домов, среди которых было меньше десятка изысканных жилищ с ванными и лишь полсотни с тем, что можно обозначить как ватерклозеты. Летом наш задний двор всегда пованивал помойкой. И всюду, в любом жилье насекомые. У нас за деревянной обшивкой стен имелись тараканы, за кухонной печью – сверчки и, разумеется, мучные черви в магазинных ларях. Надо сказать, даже самые домовитые хозяйки вроде моей матери не видели тогда в тараканах ничего страшного. Тараканы являлись такой же принадлежностью кухни, как буфет или скалка. Но были другие – позорные – насекомые. В хибарах за пивоваренным заводом, там, где жила Кейти Симонс, кишели клопы. Вот заведись они в доме, так мать или иная жена владельца магазина сгорела б от стыда; считалось неприличным даже знать, как эти клопы выглядят.

Жирных синих мух, налетающих в кладовку и облепляющих сетку над мясом, гоняли: «Сгиньте вы!», однако же и мухи были божьими тварями, и кроме как защитной сеткой да липкой бумагой с ними не сражались. Я вот сказал вначале, что первое в моей памяти – запах семян и мякины, но запах мусорных ящиков во дворе тоже из ранних моих лет и тоже навеки мил. Вспоминая материнскую кухню с каменным полом, ловушками для тараканов, железной каминной решеткой и прокопченной печью, я всегда, кажется, слышу жужжание навозных мух, чувствую, как слегка пованивает от помойного ведра, шибает в нос чудесным густым запахом псины от симпатяги Удальца. Ей-богу, есть звуки и запахи похуже. Вам, например, какое гудение больше по душе: навозных мух или бомбардировщиков?

Джо пошел учиться в уолтонскую грамматическую школу на два года раньше меня. Обоих нас не решались отправить в Уолтон до девятилетнего возраста, так как учеба там означала четыре мили на велосипеде утром туда и вечером обратно, а мать очень боялась дорожного движения, хотя автомобили еще были редкостью.

До этого мы с братом несколько лет посещали частные начальные классы миссис Хаулет. Всякий знал, что мамаша Хаулет старая самозванка и учитель хуже, чем никакой, но большинство малышей из семей владельцев магазинов все-таки обучались у нее, не опускаясь до постыдной общедоступной школы. Нашей наставнице, глухой и едва видящей сквозь очки, было далеко за семьдесят; все ее школьное оборудование состояло из указки, стопки затрепанных учебников письма и пары дюжин резко пахнувших грифельных досок. С ученицами она еще кое-как справлялась, но мальчики над ней просто смеялись и прогуливали сколько хотелось. Помню, однажды на уроке разразился жуткий скандал – мальчишка сунул руку девчонке под юбку (смысл деяния я тогда еще не улавливал). Мамаше Хаулет удалось скрыть этот ужас от родителей. Обычной ее воспитательной угрозой звучало «скажу твоему отцу», но мы заметили, что часто жаловаться на учеников она не смеет, а если замахивается указкой, то от ударов нескладной старухи легко увернуться.

Джо было всего восемь, когда он примкнул к мальчишеской шайке под названием «Черная рука». Верховодил там тринадцатилетний сын шорника Сид Лавгроу, входили в шайку еще два сына городских торговцев, юный посыльный с пивоваренного завода и двое ребят с фермы, исхитрившихся среди крестьянских трудов выкроить час-другой на разбойничьи приключения. Этих сельских ребят, рослых, мосластых, в драных вельветовых штанах, несмотря на их низменно-простецкий вид и говор, приняли в компанию за несравненные познания и таланты касательно всякой живности. Один из них, рыжий, по прозвищу Имбирь, мог даже голыми руками поймать дикого кролика: высмотрев затаившегося в траве зверька, кидался и, упав плашмя, накрывал своим телом. Социальную пропасть между сыновьями магазинщиков и сыновьями фермерских рабочих местные подростки начинали отчетливо сознавать лишь годам к шестнадцати. У членов шайки имелся тайный пароль, имелась также процедура «испытания», где требовалось разрезать себе палец и съесть земляного червя, а главным было демонстрировать себя отчаянными

головорезами. Досадить они, конечно, умели: били стекла, гоняли пасшихся коров, отрывали дверные молотки, сады грабили, унося фрукты мешками. Зимой, когда удавалось позаимствовать пару хорьков (и если позволяли фермеры), они охотились на крыс. У всех них были на вооружении рогатки и колотушки, и каждый копил на стоивший тогда пять шиллингов пистолет для стрельбы в тире, только больше трех пенсов никак не накапливалось. Летом шайка ходила удить рыбу или выискивать птичьи гнезда. Прогуливавший уроки мамы Хаулет, по крайней мере, раз в неделю, Джо умудрялся также, хоть и реже, прогуливать уолтонскую школу. Нашелся соученик, умевший подделать любой почерк и за пенни изготавливавший записку от матери, где подтверждалось твое вчерашнее недомогание. Конечно же, я дико рвался разбойничать с «Черной рукой», но Джо сурово отвергал мои поползновения: не нужна, мол, им на шею сопливая малышня.

А меня обуяла мечта о рыбалке. Ведь до восьми лет жалкий мой рыбацкий опыт сводился лишь к возне с сачком, куда изредка попадалась микроскопическая корюшка. Мать, естественно, ужасало всякое наше приближение к воде, рыбалка в ряду обычных родительских запретов была «нельзя», а сам я еще не сообразил, что глаза взрослых не всевидящее око, но как страстно мечталось порыбачить! Сколько времени я провел у мельничного пруда, наблюдая серебрившихся на воде под солнцем карасиков, а иногда замечая в полутьме под ветвями ивы большого – мне казалось, громадного (сейчас думаю, дюймов шесть) – карася, который вдруг, всплыв и на миг сверкнув алмазной гроздью, жадно хапал личинку и вновь исчезал. Часами я простаивал перед витриной лавки Уоллеса на Главной улице, где торговали рыболовной снастью, ружьями и велосипедами. Проснувшись летним утром, я лежал, представляя все известное мне из рассказов Джо: как делаешь приманку из хлебного теста, как закидываешь удочку с пляшущим поплавком и тонущим грузилом, как гнется в руках удище с клюнувшей, натянувшей леску рыбой... Почему для ребенка все это излучает волшебное сияние? Не обязательно рыбалка, для иных детей это охота и стрельба или же мотоциклы, самолеты, лошади. Ничего тут не объяснишь – чистая магия. Однажды утром (было это в июне, а мне, должно быть, было восемь), зная, что Джо намерен прогулять и удить рыбу, я твердо решил пойти вслед за ним. Каким-то образом почуяв мои планы, брат, пока мы одевались, предупредил:

- Ты вот что, карапуз, не вздумай за нами увязаться! Сиди дома!
- Я и не думаю. Не собирался даже.
- Собирался!

– А вот и нет!
– А вот и да!
– Нет!
– Да! Но будешь сидеть дома, ясно? Нужна нам в шайке драная малышня!

Недавно освоив ругательное «драный», Джо вовсю щеголял словцом. Отец услышал и пообещал «вышибить дух» из брата, но до дела, конечно, не дошло. А после завтрака, когда Джо, с ранцем, в форменной школьной фуражке, оседлав свой велосипед, умчался на пять минут раньше обычного (что всегда означало – сегодня прогул), когда мне тоже надо было отправляться в классы мамы Хаулет, я, выскользнув, нырнул в проулок позади дворов. Шайка соберется у мельничного пруда, пойду туда и я, пускай хоть убивают. Мальчишки наверняка поколотят, потом придется к обеду прийти домой, мать поймет, что я прогулял, и от нее тоже достанется – плевать. Одно неукротимое желание – рыбачить с шайкой. И действовал я хитро. Терпеливо выждал, чтобы Джо успел в объезд прикатить на место, а затем по тропинке и краем поля за кустами живой изгороди незаметно подобрался почти к самому пруду. Стояло чудесное июньское утро. Ноги по колено утопали в гуще лютиков. Ветерок слабо шевелил верхушки вязов, пышная пена листвы светилась нежным, нарядным шелком. Девять часов утра, мне восемь лет, вокруг все прелести начала лета, с чащобой живой изгороди, где еще в цвету кусты диких роз, с медленно плывущими над головой пушистыми белыми облачками, с пологой волной холмов вдали и туманно синеющим лесом Верхнего Бинфилда. И ни черта этого я не замечал. В голове только тинистый зеленый пруд, члены шайки, их крючки, лески, хлебное тесто приманки. Словно там рай и мне во что бы то ни стало надо туда. Наконец я подкрался совсем близко. Ребят было четверо: Джо, Сид Лавгроу, мальчишка-посыльный и еще один сын лавочника, звали его, помнится, Гарри Барнс.

Джо, повернувшись, увидал меня.

– Черт! Шкет явился! – прошипел он. И направился ко мне, как разъяренный кот. – Ты что? Давай-ка живо дуй отсюда!

Оба мы, разозлясь, готовы были лечь костями, настаивая на своем. Я отскочил подальше и заявил:

– Нипочем не уйду!
– Уйдешь, я сказал!
– Уши ему надери, Джо, – посоветовал Сид. – Сосунков нам не хватало.

– Так ты уйдешь? – с угрозой спросил Джо.

– Не уйду.

– Ладно, парень, ла-а-адно!

Он кинулся, погнался за мной, награждая тумак за тумак. Но я не убегал, кружил по берегу. В конце концов Джо меня отловил, повалил и, став коленями на мои руки, начал крутить мне уши – его излюбленная пытка. Я, беспомощный, заревел, но и в слезах уйти домой не соглашался. Нет, я хотел остаться, удить рыбу с ними. Внезапно остальные члены шайки смиростивились: сказали Джо, чтоб отпустил меня, а мне, если уж очень хочется, позволили не уходить. Так что я все-таки остался.

У ребят были крючки, лески, поплавки, немалый запас хлебного теста в тряпичном узелке; все мы нарезали себе удилиц из прутьев ивы. Еще надо было постоянно посматривать на стоявшую в двух сотнях ярдов от нас мельницу, поскольку старик Брувер запрещал тут рыбачить. Не то чтобы это ему мешало (пруд он использовал лишь для купания скота), просто он ненавидел мальчишек. Сохраняя подозрительность к новичку, члены шайки то и дело шикали на меня, требуя не маячить на свету, напоминая, что я сосунок и ничего не смыслю в рыбной ловле. Ворчали, что я своим шумом всю рыбу распугал, хотя я вел себя гораздо тише любого из них. В довершение всего меня отослали сидеть отдельно, вдалеке от остальных, у мелководья и почти без тени. Малышня вроде меня, говорили они, наверняка воду взбаламутит, рыбу от берега отгонит. Место, куда меня отправили, было совсем негодное, и там рассчитывать на клев не приходилось. Я это знал; каким-то уж инстинктом знал, где есть рыба, где нет. Но наконец-то я рыбачил! Сидел на травянистой отмели, в руках удочка, вокруг жужжание мошкары и сильный, прямо-таки с ног сшибающий аромат дикой мяты; сидел, вперившись в алый поплавок на зеленой воде, и, хоть чумазое лицо в потеках слез, был счастлив как безумный.

Бог знает сколько мы так просидели. Тянулось утро, солнце поднималось выше и выше, ни у кого не клевало. Денек был жаркий, слишком солнечный для клева. Поплавки лежали неподвижно. Сквозь воду можно было смотреть как сквозь темное зеленое стекло. На середине пруда виднелись рыбешки, всплывшие почти к самой поверхности воды погреться, иногда в траве подле берега скользил тритон, поднимался и замирал, опершись лапками на травину, высунув из воды лишь кончик носа. Но рыба не клевала. Взволнованные крики ребят каждый раз оказывались ложной тревогой. Время шло, стало совсем жарко, мухи и комары ели поедом, заросли мяты сладко пахли леденцами из лавки мамы Уилер. Мне делалось все голоднее, тем более что я не знал, долго

ли еще до обеда. Однако я сидел тихо как мышь, не отрывая глаз от поплавок. Мне выдали комок хлебного теста, объяснив, как насаживать, но я подолгу не смел заменить приманку, поскольку, стоило мне вытянуть леску, все на меня накидывались за кошмарный шум, якобы распугавший рыбу на пять миль вокруг.

Сидели мы уже, должно быть, часа два, когда вдруг мой поплавок дрогнул. Я понял – рыба. Рыба, которая, случайно проплывая, соблазнилась моей наживкой. Движение поплавок, когда клюет, нисколько не похоже на то, если сам ненароком дернешь леску, – тут не ошибешься. Крючок мой резко потянуло в глубину, я больше не мог выдержать и закричал:

– У меня клюнуло!

– Фигня! – откликнулся-отмахнулся Сид Лавгроу.

Но уже и сомнений не осталось: поплавок нырнул вниз, и я, продолжая видеть под водой его тусклое красноватое пятно, почувствовал, как напряглось в руках удище. Господи, что за чувство! Леску твою натягивает, дергает, а на другом ее конце рыба! Ребята, увидав мой изогнувшийся прут, побросали удочки и понеслись ко мне. Я вытянул свой потрясающий трофей, и рыба – огромная, серебристая! – дугой пролетела по воздуху. И тут же хоровой вопль ужаса. Сорвавшись с крючка, рыба плюхнулась в торчащие из воды кустики дикой мяты. Там было, однако, так мелко, что ей не удалось перевернуться, и секунду она просто лежала плашмя. Джо, окатив нас брызгами, бросился в воду и схватил ее.

– Ессь! – прокричал он, швырнул рыбину на берег, и мы, став на колени, сгрудились вокруг добычи. Как мы, злодеи, ликовали! Бедняга карась бился в агонии, и чешуя его сверкала всеми цветами радуги. Большой карась – длиной не меньше семи дюймов, весом в добрую четверть фунта. Как восхищенно мы орали, глядя на него! Но в следующий миг на нас упала чья-то тень. Мы подняли глаза – над нами стоял старик Брувер в своей высокой твердой шляпе (тогда все носили такие: нечто среднее между цилиндром и котелком), в грубых кожаных гетрах, с толстой ореховой палкой в руке.

Мы сжались, будто птенцы куропатки под тенью ястреба. Он переводил взгляд с одного на другого. Челюсти его, с беззубым стариковским ртом и выступом бритого подбородка, напоминали щипцы для орехов.

– Чем это вы здесь занимаетесь?

Занятие наше было вполне очевидно. Мы молчали.

– Я покажу вам – удить на моем пруду! – взревел старик и кинулся на нас, размахивая палкой.

«Черная рука», дрогнув, обратилась в бегство. И все удочки, и мой трофей были брошены. Брувер за нами гнался до середины луга. На старых негнущихся ногах очень быстро бежать он не мог, но успел все же хорошенько наподдать, пока мы не умчались от него. Остановившись среди поля, старик орал нам вслед, что всех знает по именам и сообщит родителям. Поскольку улепетывал я в хвосте шайки, то большинство ударов досталось мне. Когда мы переводили дух уже по ту сторону живой изгороди, на голених моих обнаружилось немало гнусных багровых полос.

Остаток дня я провел с шайкой. Разбойники еще не решили, принять ли меня постоянным членом, но временно я был допущен. Юнцу посыльному, под каким-то предлогом отпросившемуся на утро, пришлось вернуться к службе при пивоваренном заводе. Остальные отправились бесконечно ходить-бродить, как это обычно бывает у мальчишек, ушедших из дому на целый день, к тому же – без разрешения. Мой первый настоящий мальчишеский поход весьма отличался от детских прогулок с Кейти Симонс. Пообедали мы на краю города, в сухой канаве, заросшей диким фенхелем и полной ржавых жестянок. Со мной поделились частью взятых с собою завтраков, а Сид Лавгроу дал кому-то пенни – сбегать купить для всех бутылку «Великана». Было ужасно жарко, стоял сильный пряный запах фенхеля, и лимонадный газ наградил нас отрыжкой. Потом мы побрели белесой от пыли дорогой в Верхний Бинфилд. Тогда, по-моему, я первый раз туда попал, впервые увидел буковый лес с его ковром опавших листьев, с этими гладкими стволами, которые так высоко уходят в небо, что птицы на верхушках видятся россыпью точек. В те дни, если хотелось, ты по лесу мог ходить где угодно. Фазанов вокруг заколоченной «Усадьбы» больше никто не охранял, самое страшное – встретится возчик с телегой бревен. Нашелся спиленный ствол, древесные кольца торца были похожи на мишень, в которую мы начали пулять камнями. Другие из рогаток стреляли в птиц, причем Сид Лавгроу поклялся, что сшиб зяблика, только тот застрял в ветках наверху, а Джо сказал, что Сид врет, и они заспорили, почти что подрались. Потом мы спустились на дно известняковой ложбины, устланной толстым слоем сухих листьев, и орал, чтобы послушать эхо. Кто-то выкрикнул непристойность, после чего пошли в ход все известные шайке похабные слова, и надо мной глумились, так как в моем словаре их набралось лишь три. Сид Лавгроу нам объявил, что знает, как родятся дети, – так же как кролики, только ребенок вылезает из женского пупка. Гарри Барнс принялся корябать на буковом стволе словечко... но после первых двух букв занятие резьбой ему наскучило. Потом направились к усадебной сторожке. Ходил слух, что где-то на

территории «Усадьбы» есть пруд с невероятно крупной рыбой, но никто не отважился когда-либо проникнуть внутрь, потому что обитавший в сторожке старый Ходжес, который, так сказать, присматривал за домом, был крут с мальчишками. Ходжес копался в своем огороде у сторожки. Мы покричали ему разных дерзостей из-за забора, пока сердитый старик нас не отогнал, а затем вновь пошли к уолтонской дороге, чтобы дразнить проезжающих возчиков, стоя за живой изгородью, куда кнутом с телеги не достать. Близ уолтонской дороги был старый карьер, превращенный потом в свалку, густо заросшую кустами ежевики. Присыпанные землей с цветущими буйными сорняками, там громоздились горы мятых оловянных канистр, дырявых кастрюль, погнутых велосипедных рам, битых бутылок. И мы час рылись в этой дряни, изгваздавшись с головы до пят, вытаскивая ржавые столбики оград, поскольку Гарри Барнс поклялся, что кузнец в Нижнем Бинфилде дает шесть пенсов за сто фунтов старого железа. Потом Джо отыскал в ежевичных кустах брошенное гнездо дрозда с едва оперившимися птенцами. После долгого спора, что с ними делать, мы их вынули, стали кидаться в них камнями и, наконец, пришибли. Птенцов было четыре, так что каждый из нас припечатал своего. Тем временем близилось время ужина. Понятно было, что старый Брувер угрозу свою выполнит и впереди ждет порка, но голод уже слишком донимал. В общем, поплелись мы домой, учинив по пути еще одно бесчинство: заметили крысу и, схватив палки, кинулись за ней, а за нами погнался старый Беннет (начальник железнодорожной станции, который даже по ночам холил свой огород и страшно им гордился), в бешеной ярости оттого, что мы грядку с луком ему растоптали.

Отшагав десять миль, я не устал. Весь день я шлялся вместе с шайкой, стараясь все делать как остальные, меня нещадно шпыняли и обзывали сосунком, но я все же держался, нос не вешал. Во мне бурлило некое изумительное чувство – не описать его, оно известно лишь мужчинам, когда-то его пережившим. Больше я не был малышом, я стал мальчишкой. А мальчишкой быть замечательно, ведь это значит вольно бродить вдали от цепкой власти взрослых, охотиться на крыс, сшибать пичужек, кидаться камнями, дразнить возчиков, сквернословить во все горло. Особенное ощущение силы, роскошное ощущение, что ты все можешь и ничего не боишься, и связано оно со смелым нарушением правил, с реальным агрессивным разрушением. Белая дорожная пыль, влажная от пота одежда, запах фенхеля и дикой мяты, непристойные слова, кислая вонь мусорной свалки, вкус лимонада с отрыжкой от газировки, и припечатанный птенец, и рывок натянувшей леску рыбы – все это там сплелось. Благодарю, Боже,

что создан я мужчиной, – ни одной женщине подобного не испытать.

Действительно, старый Брувер не поленился обойти родителей и донести. Отец, донельзя мрачный, вынес ремень и объявил, что сейчас напрочь «вышибет дух» из Джо. Брат не давался, вопил и лягался, в результате получив от отца не больше парочки сильных ударов. Правда, на следующий день его отхлестал тростью директор грамматической школы. Я тоже пробовал сопротивляться, но был еще не столь силен, чтоб матери не удалось, положив меня поперек колен, всыпать ремнем как следует. Так что в тот день мне здорово досталось трижды: от Джо, от Брувера, от матушки. Назавтра шайка порешила, что в полноценные члены я все же не гожусь, пока не пройду «испытание» (термин был позаимствован из книг о краснокожих). Строгие судьи настояли, чтоб червяка я, до того как проглотить, обязательно разжевал. Кроме того, поскольку я, малявка, был единственным, кто в тот раз что-то выудил, они потом все выясняли габариты вселившего зависть («вроде не так уж и большого») караса. В отличие от обычных рыбацких рассказов, где трофей со временем растет и растет, мой карась по ходу их обсуждений съежился до размеров жалкого пескарика.

Но это было все равно. Я же рыбачил! Я видел, как нырнул мой поплавок, я чувствовал на тугой леске тяжесть рыбы, и сколько бы ни врали мои завистники, этого у меня им было не отнять.

Насчет последующих лет, от моих восьми до пятнадцати, помнится главным образом рыбалка. Конечно, было много всякого другого, но, оглянувшись назад, в далекое прошлое, кое-что видишь ярко, а иное еле брезжит. Я перестал ходить к мамаше Хаулет, стал ездить в грамматическую школу, обзавелся кожаным ранцем и черной фуражкой с желтыми полосками, получил первый свой велосипед и много позже – первые мои длинные брюки. Первый велосипед у меня был с жестко закрепленным передним колесом (модели с «поворотным» колесом стоили тогда очень дорого). На крутом спуске ты вытягивал вперед уставшие ноги и позволял педалям крутиться, визжа, самостоятельно. Да, характерная картинка начала 1900-х: паренек-велосипедист летит с холма, голова откинута, а ноги в воздухе. Уолтонская грамматическая школа страшила меня до дрожи из-за рассказов Джо о старом Баки (директоре по фамилии Бакенбард), и в самом деле оказавшемся злющего вида человечком с

абсолютно волчьим лицом, а также с запасом гибких камышовых тростей, которые хранились в стеклянном ящике в глубине большой классной комнаты и которые он порой доставал, наглядно рассекая ими воздух и внушая ужас их жутким свистом. Однако в школе дела у меня пошли на удивление хорошо. Мне никогда не приходило в голову, что я умом могу превзойти Джо, братца двумя годами старше, постоянно измывавшегося надо мной с тех пор, как он начал ходить. Но Джо был законченным разгильдяем, каждую неделю получавшим порцию жестокой порки и до шестнадцати лет просидевшим на скамьях среди младших учеников. Во втором семестре я удостоился награды по арифметике и еще одному невнятному предмету, который заключался в основном в засушивании цветков и числился «наукой о природе», а когда мне исполнилось четырнадцать, Бакенбард заговорил насчет образования и университета в Рединге. Отца, возлагавшего на нас с братом честолюбивые надежды, волновала мысль о моем непременно поступлении «в колледж». Витала некая идея, что мне предстоит стать школьным учителем, а Джо – ведущим аукционных торгов.

Но особого места школа в моей памяти не занимает. Когда мне довелось довольно тесно пообщаться с пареньками из сословий повыше (это в годы войны), меня буквально поразило, как их затюкала муштра закрытых школ. Такая дрессировка или здорово разгладит юные бойкие мозги, или заставит всю оставшуюся жизнь с остервенением бунтовать против нее. У нас, детей владельцев ферм и магазинчиков, было не так. Мы шли учиться в грамматическую школу и до шестнадцати лет околачивались там лишь затем, чтобы демонстрировать – мы не из пролетариев, но сама школа оставалась местом тоскливого занудства, от которого хотелось только сбежать. Никакой верности, сентиментальной преданности «старым серым стенам» (а стены и впрямь были старые, стояли пятый век, основал нашу школу кардинал Уолси^[19]), никакого «нерушимого мальчишеского братства», никакой даже своей школьной песни. По выходным много времени для себя, ведь спортивные игры не принудительно и не столь часто, чтоб отлынивать. Мы гоняли в футбол (верней, изображали что-то вроде), сражались на крикетных матчах, где надлежало появляться туго перепоясанным, но мы тут обходились без формальностей. Меня из тех спортивных состязаний увлекал один крикет, в который мы играли всю большую перемену на покрытом гравием дворе; играли битами, сделанными из дощечек упаковочных ящиков, и самодельными мячами.

Помнится запах уныло-просторной классной комнаты – запах чернил, пыли и обуви. Помнится камень на колоде во дворе, об который ученики

точили перочинные ножи, и небольшая пекарня напротив, где продавались изюмные плюшки, не такие, как теперь, а вдвое больше, назывались они «чудо-сдобы» и стоили полпенни. Вел я себя в школе положенным манером. Нацарапал на крышке письменного стола свое имя, за что был отлупцован (пойманных на подобном криминале обязательно секли, но этикет требовал совершить это преступное деяние). Ходил с лиловыми от чернил пальцами и обгрызенными ногтями, употреблял ручки с перьями как стрелы, носил в кармане горсть конских каштанов для игры в «расшибалочку», пересказывал непристойные байки, обучился онанизму, дразнил учителя английского, «мямлю Броверса», издевался над Вилли Сайменом, слабоумным сынишкой гробовщика, верившим всему, что ни скажи. Любимой нашей шуточкой было послать его купить что-нибудь несусветное: на полпенни стоивших пенс за штуку почтовых марок, резиновый молоток, отвертку для закрутки в обратную сторону, банку полосатой краски и всякое такое – малыш Вилли не понимал подвоха. Однажды мы славно развлеклись: посадив его в бадью, уговаривали изнутри поднять эту бадью за ее ручки. Бедняга Вилли, кончил он в приюте для умалишенных.

Но настоящей жизнью жилось только на каникулах и в выходные. Тогда вот удавалось заняться чем-то действительно важным и интересным. Зимой мы, взяв на время у кого-нибудь пару хорьков (дома нам мать не разрешала держать «этих гадких вонючек»), отправлялись по фермам, выпрашивая позволение устроить охоту на крыс. Иногда фермеры нам разрешали, иногда гнали прочь: мол, от крыс неприятностей поменьше, чем от вас. В конце зимы мы помогали истреблять амбарных крыс, пристроившись возле работающих молотилок. Была зима (кажется, 1908-го), когда Темза вышла из берегов, затопив луга, а потом грянули морозы, и мы в течение нескольких недель катались на коньках, и Гарри Барнс сломал на льду ключицу. Ранней весной мы уходили в лес сшибать белок – метать в них колотушки, затем наступала пора разорять птичьи гнезда. У нас существовало убеждение, что, поскольку птицы считать не умеют, вполне достаточно оставлять в гнездах по одному яйцу, но часто мы, жестокие звереныши, попросту скидывали гнезда вниз, растапывая на земле яйца или птенцов. Другая отличная забава, когда жабы мечут икру. Поймаешь жабу, воткнешь в зад ей носик велосипедного насоса и надуваешь, пока она не лопнет. Таковы мальчишки, я уж не знаю почему. Летом мы на велосипедах ездили купаться к Барфордской плотине. В 1906-м утонул Уолли Лавгроу, двоюродный брат Сиды; тело застряло на дне в густых водорослях, и когда его достали багром, лицо было черным как деготь.

Но все-таки делом самым стоящим почиталась рыбалка. Довольно долго мы ходили с удочками на пруд старого Брувера, таскали там карасиков и линьков (однажды попался даже жирный налим), ходили и на другие пруды, до которых пешком успевали добраться субботним днем. Но, заимев велосипеды, начали удить на Темзе, ниже Барфордской плотины. Это казалось нам солиднее, взрослее. К тому же фермеры на реке не гоняли, а рыбы в Темзе уйма, хотя, насколько помнится, и там больших успехов никто из наших не достиг.

Странно, какое у меня было пристрастие к рыбалке, – было и по сей день есть, честно говоря. Истинным рыболовом мне себя назвать трудно. Ни разу в жизни я не поймал рыбины длинней двух футов, и уже тридцать лет, как не брал в руки удочку. И все же, стоит вспомнить мальчишеские дни, все крутится вокруг походов на рыбалку. Видится каждая деталь. Помню конкретные дни и тогдашний улов, нет такой заводи, такого омута, которых мне вживе не представить, закрыв глаза. Я мог бы книгу написать по технике ужения. Хорошей снасти у нас в детстве не имелось, она стоила дорого, а наши три пенса в неделю (обычные тогда карманные деньги ребенка) мгновенно разлетались на леденцы и «чудо-сдобы». Малышня привязывала к лескам гнутые булавки, у которых кончик для лова туповат, но можно было смастерить зацепистый крючок (ну, без бородки, разумеется), изогнув плоскогубцами на пламени свечи острую швейную иголку. Ребята с фермы умели из конских волос сплести прочнейшую леску, не хуже, чем из бараньей кишки, а мелкая рыбешка вытягивалась и на одном-единственном конском волосе. Став чуть постарше, мы сделались обладателями удочек за два шиллинга и даже катушек. Господи, сколько же часов я простоял, пялясь в витрину лавки Уоллеса! Даже охотничьи мелкашки и спортивные пистолеты не волновали меня так, как рыбацкая снасть. А экземпляр гамиджского каталога товаров для спортсмена-рыболова^[20], который я где-то подобрал (наверное, на свалке) и проштудировал словно библейский текст! Я и теперь могу вам перечислить модели всяких нитяных или синтетических лесок, «лимерикских» крючков, ирландских колотушек глушить рыбу, «ноттингемских» катушек и прочих технических прелестей.

Приманка использовалась разная. В нашем магазине было полным-полно мучных червей – неплохо, но не высший сорт. Ценились мясные мухи. Их требовалось выпросить у мясника, старого Грэвита, и члены шайки тянули жребий или же считалкой («ина-мена-мина-мо...») решали, кому идти и кланчить, потому что Грэвит любезностью не отличался. Огромный, краснорожий, с хриплым лающим басом, на мальчишек он

рявкал, при этом ножи-секиры так и звякали перед его синим передником. Робко войдя с жестянкой из-под патоки, ты дожидался ухода покупателей и потом смиренно канючил:

– Звините, мистер Грэвит, не найдется ль у вас мясных мух для наживки?

В ответ, как из глотки мастифа:

– Что-о? У меня-то? Мухи? Отродясь тут этих тварей не водилось! Чтoб у меня-то мухи, в моем магазине?

Мухи, конечно, имелись. Везде и всюду. Грэвит их бил кожаным лоскутом на длинной палке, дотягиваясь далеко, ловко прихлопывая резким сильным ударом. Порой приходилось уйти ни с чем, но чаще вслед тебе, уже повернувшему к двери, раздавалось:

– Стой! Поди глянь, что ль, на заднем дворе. Может, какую где и углядишь.

Ты шел и находил желанных мух роями, в несметных количествах. Запах на заднем дворе Грэвита стоял как на поле боя, усеянном трупами, – холодильников мясники тогда не имели. Кстати, мясных мух живьем лучше всего сохранишь в опилках.

Хороши также личинки осы, хотя их трудно насаживать на крючок, если сначала не запечешь. Приметив осиное гнездо, мы поздним вечером заливали в него скипидар, а дупло затыкали, замазывали густой грязью. Наутро осы уже былидохлые, и оставалось только, вытряхнув гнездо, забрать личинки. В случае какой-то промашки (скипидар налили мимо отверстия или еще что) замазку отколупнешь, а замурованные на всю ночь осы враз вырвутся люто жужжащим облаком. Тогда уж мы давали стрекача, и, в общем, обходилось без слишком жутких травм, жаль только – никто рядом не стоял с секундомером. Отличная наживка, особенно для голавля, – кузнечики. Их нацепляешь без грузила и потряхиваешь ими на поверхности воды («мельтешишь»), но много этих чертовых кузнечиков заранее не раздобудешь. С трудом поймаешь и зеленых падальниц, самых лакомых мушек для ельца, особенно при ясной погоде. Насаживать их надо живыми, чтобы трепыхались. Елец идет и на осу, но ты попробуй насади живую осу на крючок.

Каких только других приманок не было. Хлебное тесто делали, отжав в тряпке намоченную булку. Тесто употреблялось с добавками: сыром, медом, анисовым зерном. Неплоха для плотвы вареная пшеница. Для пескаря хороши красные черви, которых всегда нароешь в кучах старого перегноя. Использовались также полосатые, пахнувшие вроде ухверток червяки под названием «лососята» – их страшно любит окунь. Окунь идет

и на обычных земляных червей, только держать их надо во мху, а будешь хранить в земле – скапустятся. На коричневых мух с коровьего навоза вполне прилично клюет плотва. Голавля, как рассказывали, можно взять на вишенку, а я сам лично видел плотву, взятую на коринку из пирога.

С 16 июня (открытие рыболовного сезона) до середины зимы у меня в кармане вечно лежала жестянка с червяками или мясными мухами. Мать долго пыталась бороться, не пускать, однако наконец сдалась – запрет был снят, на Рождество 1903-го отец мне даже подарил настоящую удочку за два шиллинга. Что касается Джо, то он, начавший уже лет с пятнадцати бегать за юбками, к рыбалке («детская потеха!») охладел, но было полдюжины парнишек, как и я, совершенно помешанных на рыбной ловле. Господи, те наши деньки! Млеешь, уныло навалившись на стол, в душной классной комнате, жарница, старый Бловерс нудно талдычит насчет предикатов, условных и сослагательных наклонений, а в голове твоей заводь за Барфордской плотиной, зелень воды под ивами, скользящие туда-сюда плотвички. И потом, после чая, бешеный велосипедный рывок к Чэмфордскому холму и вниз, к реке, чтобы успеть хоть часок поудить до темноты. Тающий летний вечер, тихий плеск плотины, круги на воде, где выскакивает рыба, заедающая тебя мошкара, стайка плотвы, что вьется около крючка, но никак не клюет. И страсть, с которой смотришь на черные спинки роящихся рыбешек, молясь (да, буквально молясь), чтобы какая-нибудь вдруг решилась и схватила приманку, прежде чем совсем стемнеет. И это всегдашнее «ну давайте еще пять минут!», «ну еще только пять минут, и все!», а потом путь обратно, и через городок тащишься пешком, катя свой велик, не то Таулер, фараон с бляхой, может «сцапать» за езду на велосипеде в темноте. А счастье на каникулах, когда мы, взяв хлеба с маслом, крутых яиц и лимонада, уходили на целый день: рыбачили, купались, снова рыбачили и порой возвращались вообще без улова. Возвращались уже к ночи, грязные как черти, зверски голодные (съевшие по дороге даже остаток хлебной приманки), с тремя-четырьмя пахучими пескарями в носовом платке. Рыбешек, которых я приносил, мать готовить отказывалась. Из речной рыбы она признавала только форель и лосося, остальное для нее было «выкинь эту гадость». Между прочим, помнишь лучше всего тех рыб, которых не поймал. Самых больших я замечал в воде, когда воскресным днем бродил у пруда или у реки, а удочки-то с собой не имелось. По воскресеньям не рыбачили, даже Управлением охраны Темзы это не позволялось. По воскресеньям тебе надлежало «спокойно погулять», обрядившись в плотный черный костюмчик да еще нацепив отпиливавший голову белый крахмальный воротник. В одно такое воскресенье я увидел

дремавшую в траве на мелководье громадную щуку и чуть-чуть не подшиб ее, запустив камнем. Иной раз возле камышовых зарослей на Темзе мелькала крупная форель. Форель в Темзе разрастается до солидных размеров, но ее практически не выудить. Говорят, каждый из тех чудаков с посиневшими носами, которые, закутавшись, в любой сезон сидят вдоль Темзы на складных табуретах и с безумной длины удилищами, готов год жизни отдать за добытую форель. Мне не смешно, я понимаю их, а в юности понимал еще лучше.

Происходило, разумеется, много всего. Были события знаменательные (вырос за год на три дюйма... надел первые свои длинные брюки...), я получал какие-то награды в школе, готовился к конфирмации, узнавал и рассказывал похабные анекдоты, взялся за чтение, разделял повальные увлечения белыми мышами, выпиливанием, собиранием марок. Но вспоминается всегда рыбалка. Летние дни – это заливные луга, гряда синих холмов вдаль, стоячая заводь под ивами и омут наподобие глубокого зеленого стакана. Летние вечера – всплески рыбы на воде, сиплое тарыхтение вьющихся вокруг козодоев, аромат ночных левкоев вперемешку с дымком табачных трубок. Вы только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не пытаюсь слюни разводить на тему «поэзия детства», заливать вам про эту дребедень. Вот старина Портиус (мой приятель, отставной учитель, я еще расскажу о нем) большой знаток такой романтики, он любит иногда мне почитать подобные стишки – например, что-нибудь из «Люси Грей» Вордсворта и вообще о малютках среди роц и долов. Само собой, своих малюток Портиус не завел. А говоря по правде, ничего в ребенке поэтического; дети – это просто зверьки, за исключением того, что ни один зверек не обладает и четвертью детского эгоизма. Всякие эти рощи-долы мальчишку не интересуют, на пейзаж ему наплевать, цветы он не замечает, а если отчасти замечает с целью пожевать растительность, так насчет удивительно многообразной флоры не любопытствует. Единственный отголосок поэзии у мальчишки – вдохновение что-то сломать, кого-то укокошить. И все-таки это особая пора – потом такой энергии, такого мощного напора чувств уже не испытываешь, – годы, когда ты убежден, что жизнь впереди бесконечна и все ты совершишь, все ты успеешь.

Я рос мальчонкой довольно невзрачным, с соломенными волосами, всегда коротко стриженными, кроме челки на лбу. Детство не видится мне раем; в отличие от многих у меня ни малейшего желания туда вернуться. К большинству занимавших меня тогда вещей сегодня я совершенно равнодушен. Меня не трогает, что никогда уж я не стукну битой по мячу, не

куплю на три пенса гору карамели и тянучек. Но рыбалка – это во мне глубоко, прочно и по-прежнему. Я покажусь вам форменным придурком, но и сейчас меня – толстяка сорока пяти лет, отца двоих детей, благопристойного домовладельца из столичных предместий – тянет посидеть с удочкой на бережку. Почему? Почему! Да потому, что я душевно, так сказать, привязан к детству – не к своему конкретно детству, а ко всему укладу, обиходу, в котором я вырос, который нынче на последнем издыхании. Рыбалка моя, понимаете ли, из той жизни. С воспоминанием о рыбалке вспоминаются многие вещи, потерянные современным миром. Сама мысль день напролет просидеть с удочкой под ивами у тихого пруда (и возможность найти этаким тихий пруд!) из времен до войны, до радио, до самолетов, до Гитлера. Какая-то уютная благодать даже в названиях нашей деревенской рыбы: пескарь, уклея, красноперка, лещ, усач, голавль, карась. Даже звучит как-то мирно и надежно. Те, кто называл так рыб, не слышали о пулеметах, не жили в страхе перед агрессором, не глотали поминутно аспирин, не тратили время в киношках, не ломали голову над тем, как избежать концлагеря.

Интересно, кто-нибудь ходит сейчас поудить? На сотню миль вокруг Лондона рыбы не осталось. Торчат изредка по берегам каналов унылые «клубы рыболовов», миллионеры ездят в Шотландию на лов форели в частных водоемах при отелях, где разыгрываются забавы снобов с ловлей рыбы, специально прикормленной на искусственных мух. Но кто же нынче удит у мельничных запруд, во рвах, канавах, омутах? Где самая простецкая английская рыба? Когда я был мальчишкой, она водилась в любом пруду, в любом ручье. Пруды теперь осушены, а речки, если не отравлены фабричной химией, полны ржавых консервных банок и дырявых мотоциклетных шин.

Ярче всего в памяти удивительная, потрясающая рыба, которую мне так и не случилось выловить. Обычная история, я полагаю.

Мне было около четырнадцати, когда отец оказал Ходжесу, смотрителю Бинфилд-хауса, некую добрую услугу (дал снадобье, излечившее кур от глистов, или что-то такое). И Ходжес, угрюмый ворчливый старый черт, услуги этой не забыл. Придя как-то после полудня к нам в магазин купить зерно для цыплят, он встретил меня на крыльце и вдруг, повернувшись лицом, будто вырезанным из дубового корня, обнажив два последних, очень темных и очень длинных зуба, с обычной ворчливостью прохрипел:

– Э, малый! Рыбу ловить ходишь?

– Да.

– Соображаешь. Ладно, слушай. Надумаешь – приходи с удочкой, пущу тебя потаскать там, взади парка. Навалом там и щуки, и леща. Но гляди не сболтни. Наведешь других пацанов – в кровь задницы исполосую!

Сообщив это, он хмуро, будто наговорил лишнего, вскинул на спину мешок с зерном и заковылял прочь. В следующую субботу я, набив карманы запасом мух и червяков, днем прикатил на велике в Бинфилд-хаус, к сторожке Ходжеса. Усадебный дом уже лет десять или двадцать пустовал. Хозяину его, мистеру Фарелу, было не по средствам содержать поместье, а может, просто не хотелось или же не получалось там жить. Проживал он в Лондоне, на деньги от арендаторов ферм, предоставив своей сельской усадьбе рушиться в прах. Заборы дочерна прогнили, парк зарос крапивой, плантации превратились в джунгли, даже сад вновь стал диким полем, и только несколько старых корявых розовых кустов указывали места бывших клумб. Но дом был удивительно красив, особенно на расстоянии. Огромный белый дом с колоннами и высоченными окнами, построенный, наверное, при королеве Анне^[21] кем-то знававшим итальянские зодческие красоты. Попади я к тому дому сейчас, меня бы, думаю, среди этого запустения посетили мысли о кипевшей там когда-то жизни, о людях, строивших подобные усадьбы в уверенности, что их благоденствие навек. Но подростком я быстро огляделся, да и все. Потревоженный мной, только что отобедавший Ходжес довольно неприветливо показал, куда идти. Пруд находился за несколько сотен ярдов от дома – совершенно скрытый чащей букового леса, приличного размера пруд, вернее озеро, ярдов сто пятьдесят поперек. Поразительно (даже в том возрасте это меня поразило), какое там, в дюжине миль от Рединга, всего в полусотне миль от Лондона, ощущалось уединение. Ты там был в таком одиночестве, словно на Амазонке. Обступавшие озеро мощные буковые деревья по одной стороне росли у самой кромки и отражались в воде, по другой – оставляли поясok травянистого берега с зарослями мяты; в дальнем конце гнил среди камышей дощатый лодочный сарай.

В воде роились стайки маленьких, пяти-шестидюймовых лещей, которые, вертясь, мерцали под водой красновато-бурыми пятнышками. Имелись там и щуки, и, должно быть, довольно крупные. Ты никогда не видел их, но порой какая-нибудь, греясь в камышах, вдруг встрепенется и, плюхнувшись кирпичом, уйдет на глубину. Удить их бесполезно, хотя, разумеется, я всякий раз, придя туда, пытался. Пробовал взять там щуку на ельцов или пескарей, которых выуживал в Темзе и привозил живыми в стеклянных банках, даже на скроенную из жести блесну-вертушку. Но щуки, обжираясь кишевшей вокруг них рыбешкой, мою наживку не

хватали, да и в любом случае хлипкая моя снасть их бы не выдержала. С того лесного озера я без хотя бы дюжины лещей не возвращался. Иногда в летние каникулы я уезжал туда на целый день, взяв удочку, завернутый мне матерью хлеб с сыром и номер журнала («Друзья-приятели» или «Юнион Джек»^[22]). Половлю от души, потом лягу в траву читать «Юнион Джека», потом волнующий всплеск рыбы и пахучий ком приманки вновь раздражат, снова иду удить, и так до вечера. И лучше всего было – тишь, безлюдье; абсолютное одиночество, хотя дорога проходила в какой-нибудь четверти мили оттуда. Я уже достаточно повзрослел, чтоб понимать, как хорошо порой остаться одному, да еще в глубине леса, словно все озеро твое, и никого вокруг, кроме снующей в воде рыбы и пролетающих над тобой голубей. Однако сколько же за пару лет я там удил, сколько раз туда выбирался? Десяток раз, не больше. Все-таки далековато: три мили катишь на велосипеде, приезжаешь уже за полдень. К тому же то мешает что-нибудь, то соберешься ехать, а зарядит дождь. Ну, сами знаете, как тут бывает.

Однажды никак не клевало, и я пошел обследовать самую дальнюю часть берега. Местечко оказалось топкое, под башмаками хлюпала вода, пришлось продираться сквозь чащу ежевики и завалы трухлявых сучьев. Пробивался я ярдов пятьдесят, вдруг стволы расступились и передо мной открылось второе озеро, насчет существования которого я даже не подозревал. Маленькое совсем озерцо, темневшее под нависшими ветвями. Вода в нем тем не менее была очень глубокая и очень чистая (виделось футов на пятнадцать в глубину). Я поболтался там немного, с мальчишеским наслаждением вдыхая запахи озерной сыри и древесной гнили. А потом увидел такое, что чуть из собственной шкуры не выпрыгнул.

Огромнейшая рыба! Я не преувеличиваю, в самом деле – огромная. Длиной с мою руку от плеча до кончиков пальцев. Проскользив глубоко под водой, она исчезла в тени под другим берегом. Меня будто стальным мечом пронзило. Такой громадины я еще никогда нигде не видел, у меня дыхание пресеклось. А через миг скользит вторая, тех же габаритов, а за ней третья, следом парочкой еще две! В озерке их было тьма. Я думаю, сазаны. Может, конечно, лини или лещи, но все-таки, скорей всего, сазаны – линиям или лещам до подобной величины не разрастись. Я понял, что произошло. Когда-то оба водоема были связаны, но проток заболотился и пересох, поднявшийся лес скрыл дальнее озерцо, и о нем просто позабыли. Так иногда случается: по той или иной причине забудут водоем, рыбачить на нем перестанут, вот рыба и растет себе годами, десятками лет. Громадинам,

скользившим перед моими глазами, могло быть по сто лет. И ни одна душа в мире о них не знала, только я. Вполне возможно, что сюда вообще лет двадцать никто не заглядывал; наверное, про это место не помнили уже ни Ходжес, ни управляющий мистера Фарела.

Ну можете представить, что я испытал. Даже не вынес долго там стоять и жадно, бессильно наблюдать. Поспешил назад, на первое озеро, быстро собрал свои вещички. Нечего было и пытаться вытянуть тех громадин моей леской – они порвали бы ее как тонкий волосок. Остаться удить лещиков тоже стало невозможно. От вида сазанов-исполинов у меня под ребрами закаменело, прямо-таки настоящий спазм. Сев на велосипед, я дунул с холма домой. Мальчишке набрести на такое чудо! Потаенное озерцо в лесной чаще и уйма невероятно крупной рыбы – рыбы, которую не ловили, которая хапнет первую же предложенную ей насадку. Проблема была только в подходящей снасти. Я уже все продумал, все спланировал. Надо было хоть украсть, но достать денег на необходимое снаряжение. Любым способом раздобыть полкроны на покупку особо прочной, из крученого шелка лески, крепкого поводка из кишки или сухожилий и крючков номер пять, а также запастись кузнечиками, хлебно-сырным тестом, мясными мухами, червями-«лососятами» – всякой убийственно соблазнительной приманкой. И в следующую субботу вернуться, непременно вытянуть добычу.

Однако же не вышло. Не вернулся я. Я не вернулся туда никогда. И денег не украл, и прочной лески не купил, и тех громадин выудить не попытался – что-то меня тогда вдруг отвлекло и не пустило. А не это, наверняка нашлась бы другая помеха. Всегда как-то вот так выходит.

Вам кажется, конечно, что я привираю насчет тех громадных сазанов. Вы думаете, были там обычной, средней величины рыбехи («длиной ладони с полторы», как говорят) и потом сильно разрослись у меня в памяти. Нет, я не вру. Лгут насчет рыбы пойманной, а еще чаще насчет той, что клюнула да сорвалась с крючка, но я же не выудил ни одной, даже попытка выудить не состоялась. И говорю вам – там были громадины.

Рыбалка!

Признаюсь вам в одной вещи, вернее – в двух. Первое – оглядев всю пройденную жизнь, я искренне не могу вспомнить ничего, что зажигало меня так же, как рыбалка. Все тускнеет в сравнении, даже женщины. Не

стану уверять в своем к ним равнодушии. Я столько сил и времени потратил, гоняясь за бабами, да и теперь при случае не прочь. Однако если бы на выбор предлагалось: вот тебе женщина (ну, женщина как таковая), а вот десятифунтовый сазан, – победа каждый раз осталась бы за рыбой. Второе, в чем нужно признаться, – после шестнадцати я на рыбалку ни разу не ходил.

Отчего? Оттого, что так получается. Такая жизнь – не человеческая жизнь вообще, а наша специфичная жизнь в нашей специфичной стране: не делаем мы то, что нам хотелось бы. И не работа наша вечная тому причиной. Даже трудяга-сезонник или еврей-портной иногда отдыхают. Причина в том, что внутри нас бес, понуждающий без передышки заниматься всяким идиотизмом. Найдется время для всего за исключением действительно важного. Вот вы подумайте о деле, по-настоящему вам нужном, интересном, и подсчитайте, сколько часов за все годы вы на него потратили. Теперь сочтите время, ухлопанное на такие штуки, как бритье, тряска в автобусах, ожидание поезда на платформе, потом ожидание у семафоров, перемалывание сальных сплетен и чтение газет.

С шестнадцати лет мои рыбацкие походы прекратились. Занят был, понимаете ли, времени никак не выкроить. Я работал, обхаживал девчонок, надел первые свои ботинки на кнопках и первый свой высокий воротничок (для воротничков 1909 года шея требовалась как у жирафа), учился на заочных торгово-бухгалтерских курсах и «развивал интеллект». А громадные рыбыны кружили в дальнем лесном озерке Бинфилд-хауса, и знал об этих рыбах я один, в памяти-то моей они сидели. Был день (в какие-то длинные праздники, наверно), когда я уже собрался съездить на озерко. Но не поехал. Все успевал, а это нет. Между прочим, единственный с юности случай, когда я был буквально в шаге от рыбалки, произошел в годы войны.

Случилось это осенью 1916-го, как раз перед тем, как меня ранило. Нас вывели из траншей к деревне за линией фронта, и хоть стоял еще сентябрь, в грязи мы были по уши. Как полагается, никто не знал, на сколько нас туда и куда погонят потом. По счастью, командира нашего скрутил зверский бронхит, а посему солдат не теребили смотрами, проверками снаряжения, футбольными матчами и прочим, чем положено между боями поддерживать воинский дух. Первый день мы, расквартированные по сараям, отлеживались на сене и соскребали грязь с обмоток, вечером часть парней организовалась в очередь к двум жалким истасканным шлюхам, обосновавшимся в домике на краю деревни. Наутро, нарушив приказ не покидать селение, я потихоньку выбрался в поля, вернее

– уже не поля, а жуткие, безобразные пустоши. Утро было студеное, сырое. Всюду, конечно, пакость и разруха, мерзкий хаос войны, который еще гаже фронтового поля с трупами. Обломанные деревья, воронки от снарядов, где уже полно всякого мусора, дерьма, жестянок, мотков ржавой колючей проволоки с проросшими сквозь нее сорняками. И это вот чувство, которое в тебе, как вылезешь из окопов. Каждая косточка ноет, а внутри тоскливая пустота, ощущение, что уже никогда ни в чем не блеснет для тебя ни малейшего интереса. Тут и страх, и смертельная усталость, но главным образом скука. В то время войне конца-края не предвиделось. Со дня на день тебя должны были снова отправить драться, вскоре тебе грозило под пушечным обстрелом разлететься в кровавые клочья, но хуже всего была эта беспросветная скука навеки.

Бродя по полю, я столкнулся со знакомым парнем, фамилию его уже не помню, только прозвище – Нобби^[23]. Мне, глядя на него, смуглого, цыганистого, плечи горбом, всегда казалось, что парень тащит пару украденных кроликов. До войны он в Лондоне торговал с лотка и был истинным кокни^[24], но из тех бедовых парней, которые регулярно отправляются собирать хмель, отлавливать пичужек, браконьерствовать, грабить сады в Эссексе или Кенте. Крупный специалист по псам, хорькам, птичьим клеткам, петушиным боям и всему в этом роде. Приветственно кивнув, Нобби своим насмешливым жаргонным говорком позвал меня:

– Хромай сюда, Джордж! – (Я тогда еще не растолстел, приятели еще называли меня Джорджем.) – Зришь вон за полем компашку тополей?

– Ну.

– С тылу там пруд, а в нем до черта рыбы.

– Какой рыбы? Не заливай!

– Да говорю те – окуньки, и до черта их. Прямо горстями хватай. Пошли, сам обалдеешь.

Мы потащились по грязи. Нобби не обманул. За тополями в песчаных откосах действительно колыхался довольно мутный пруд – похоже, заполнившийся водой старый карьер. И окуней тьма. Всюду под водой роились синевато-полосатые спинки, мелькали даже экземпляры на фунт весом. Должно быть, здорово размножились за два года войны, пока их не тревожили. Что со мной сделалось при виде этих окуней! Словно они в один момент к жизни меня вернули. Естественно, в мозгах у нас закипело – нужны какие-нибудь удочки.

– Черт! – сказал я. – Придем и натаскаем!

– Пари держу, отлично, на... нагребем! – поддержал Нобби. – Двинули

к деревне. Пошустрим, сладим снасть.

– Угу, только по-тихому. Сержант узнает – всыплет нам.

– Пошел он на... Пускай они меня после свяжи-подвесь-и-раздери^[25], а схожу нахватаю драной рыбицы!

Вам не понять, как нас с ума свела эта возможность порыбачить. А может, и понять, если вы побывали на войне. Тогда вы знаете насчет дикой армейской скуки, как там хватаешься за буквально любое развлечение. Я видел двух парней, призванных из запаса, которые чуть не насмерть подрались, дергая друг у друга затрепанный журнальчик. И кое-что еще дороже – надежда почти на целый день сбежать от атмосферы солдатских будней. Сидеть под тополями, удить окуней вдали от боевого братства, шума, вони, униформы, командиров, козыряния старшим по званию, зычных окриков сержанта. Рыбалка – дело, противоположное войне. Однако нас лихорадила надежда, но уверенности, что получится, не было никакой. Мог вызнать и на корню пресечь все наши планы сержант либо кто-то из офицеров, и самое плохое – неизвестно было, долго ли нас там продержат (могли оставить на неделю, могли через пару часов отправить маршем). Между тем ничего для рыболовной снасти – ни булавки, ни даже куска крепкой нити – не имелось; все требовалось соорудить с нуля. А рядом пруд, кишевший окунями! Во-первых, нужен был хороший, гибкий прут. Полагалось бы ивовый, но ив, конечно, до горизонта не оказалось. Нобби присмотрел тополек, срезал ветку и обстругал ее складным ножом; вышло не совсем то, но лучше, чем ничего. Запрятав это подобие удилица в гуще травы у берега, мы незаметно прокрались обратно в деревню.

Далее требовалась игла, чтобы сделать крючок. Где взять? У одного парня имелись штопальные иглы, но слишком толстые, с тупым концом. Чего нам надо, мы не объясняли: боялись, что долетит до сержанта. Наконец стукнула идея насчет шлюх, практиковавших на краю деревни, – у них наверняка иголки есть. Когда мы туда добрались (к задней двери, со стороны уляпанного навозом двора), дом был заперт и шлюхи дрыхли честно заработанным сном. Минут десять мы орали, дубасили в дверь, пока на пороге не показалась жирная уродина в халате, гавкнувшая что-то по-французски.

– Иглу! Иголку! Нам нужна иголка! – крикнул ей Нобби.

Поскольку она, разумеется, не поняла, Нобби решил, что исковерканный английский иностранке уразуметь легче.

– Игла хотеться! Тряпка шить! Вот так вот! – Он изобразил процесс шитья. Ошибочно истолковав его жесты, шлюха пошире открыла дверь. В конце концов мы все же втолковали про иглу и ее получили. А тут как раз

уже обед.

После обеда в сарай приходил сержант назначить парней в наряд, но мы с Нобби успели вовремя нырнуть под копну сена, а после ухода сержанта зажгли свечку и ухитрились согнуть крючком раскаленную иглу. Из инструмента только складные ножи, и пальцы были сплошь в ожогах. Теперь изготовить леску. У всех лишь мотки рыхлой толстой штопки, но нашелся малый с катушкой настоящих швейных ниток. Чтобы этот жмот поделился, мы ему отдали целую пачку сигарет. Нитка была, конечно, слабовата, однако Нобби сложил ее втрое и, закрепив концы гвоздем к стене, сплел крепкой тугой косичкой. Тем временем мне, обойдя деревню, удалось найти валявшуюся пробку, я ее посредине продырявил, вставил поперек спичку – будет поплавок. Дело шло к вечеру, уже темнело.

Основными элементами снасти мы себя обеспечили, хорошо было бы еще обзавестись поводком из кишки. Долго не удавалось придумать ничего путного, потом мы вспомнили про санитару. Кетгут для зашивания ран в его комплект первой помощи не входил, но он, наверно, мог достать. Спросили его, и надо же, он в своем рюкзаке припрятал большой клубок хирургической нити (соблазнился в каком-то госпитале и упер). Подгнивший кетгут полопался на короткие, дюймов по шесть, обрывки. За десяток их мы выложили санитару еще пачку сигарет. Задубевшие обрывки Нобби размочил и накрепко связал. Итак, у нас появилось все: удилище, леска, крючок, поплавок, даже поводок. Червей где-нибудь накопать не проблема. И пруд со снующими окунями! Крупными толстяками полосатиками, умоляющими, чтоб их выудили! Мы в такой лихорадке легли подремать, что даже башмаки не сняли. Завтра! Только бы завтра! Только бы на денек война о нас забыла! Решено было сразу после утренней проверки смыться до вечера, а там пускай хоть арестуют и под трибунал.

Что ж, думаю, вы уже сами догадались про дальнейшее. На утренней проверке приказ собратиться и через двадцать минут с вещмешками в строй. Девять миль мы протопали пешком, затем нас посадили на грузовики и отправили на другой участок фронта. Тот пруд за тополями я больше никогда не видел и не слышал о нем. Предполагаю, рыбу там позже перетравили горчичным газом.

И с тех пор никакой рыбалки. Случая не находилось. Война, после войны, как и у всех вокруг, битвы в поисках места; потом я получил работу, а работа получила меня. Пристроился я в страховом бизнесе, пополнив ряды тех многообещающих молодцов с крепкими челюстями и отличными перспективами, которых вам рисует реклама Кларкс-колледжа^[26], а затем стал обычным подневольным пять-десять-фунтов-в неделю, со своей

полуотдельной виллой в полугородском поселке. Личности такого разряда на рыбалку ходят не чаще, чем биржевые брокеры на сбор подснежников. Не подобает! Нам назначен другой отдых.

Конечно, у меня каждое лето две недели отпуска. Вы знаете, что это за отпуска: Маргит, Ярмут, Истборн, Гастингс, Борнмут, Брайтон^[27]. Небольшие вариации в зависимости от того, как в этот год с деньгами. А главное занятие на отдыхе с моей дражайшей Хильдой – бесконечная арифметика в уме для выяснения, на сколько шиллингов нас надувает хозяйка пансиона. И еще относительно детишек («нет-нет, мы сейчас им не можем купить новое ведерко для песка!»). Несколько лет назад мы были в Борнмуте. Одним прекрасным днем шатались всей семьей по пирсу, он там тянется на полмили, и вдоль него сплошной шеренгой рыболовы: в руках короткие толстые удилища со звоночками на конце и лесками, закинутыми в море на полсотни ярдов. Унылая ловля, тем более что ни у кого не клевало. Однако же люди рыбачили. Детям там скоро надоело, они стали канючить, проситься обратно на пляж; Хильда, увидев скользкого червяка на крючке, охнула, что ей дурно. Но я тянул время, продолжая бродить, завистливо и жадно наблюдать. Внезапно зазвенело, и парень начал сматывать леску. Все головы повернулись к нему. Да – показалась мокрая леска, потом шишка грузила, и, наконец, на крючке завихлялась большая плоская рыба (видимо, камбала). Парень кинул ее на доски пирса; рыбина, трепыхаясь, сверкала каплями воды на серой бугристой спинке и белом брюхе, от нее резко потянуло соленой морской свежестью. Внутри у меня что-то ухнуло.

Покидая пирс, я небрежно, только чтобы проверить реакцию Хильды, бросил:

- А что, не сходить ли мне тоже поудить рыбку, пока мы здесь?
- Удить! Тебе, Джордж? Ты ведь, кажется, даже не умеешь?
- Хо-хо, да у меня огромный опыт! – сказал я.

Хильда, как всегда, моментально настроилась против, хотя сразу не придумала возражений, кроме того, что не пойдет со мной – смотреть, как я насаживаю на крючок жуткую осклизлую гадость. Но минуту спустя ей стукнуло, что для моей предполагаемой рыбалки понадобятся лески, катушки и все прочее на сумму, может, в целый фунт. Одно удилище, наверно, будет стоить бобов десять. Тут она впала во мрак (на Хильду стоит посмотреть, когда дело коснется десятка бобов), и ее прорвало:

– Придумали — деньги кидать на все эти бирюльки! Вздор какой! И как же они смеют по десять шиллингов брать за дурацкие рыболовные палки! Бесстыдство! И только представить тебя, в твоём возрасте, с

удочкой! Взрослого солидного человека! Довольно уже быть малюткой, Джордж.

Тут подключились дети. Лорна мне писклявит со своей наглой детской глупостью: «Папуля, ты малютка?», а Билли, еще не умеющий правильно выговаривать слова, вслед за ней шепелявит: «Фафуля малютка...» После чего они давай плясать вокруг меня, грохоча совками по своим ведеркам и вопя:

– Фафуля – малютка! Фафуля – малютка!
Сопливые бессердечные отродья!

6

Кроме рыбалки были еще книжки.

Если у вас создалось впечатление, что меня увлекала только и единственно рыбалка, это я перегнул. Рыба, конечно, была на первом месте, но на втором – книжки. Лет в десять-одиннадцать я начал читать – то есть читать по своей воле, своему желанию. В том возрасте это буквально открывает новый мир. Я и теперь заядлый читатель – нет месяца, чтобы не глотнул пару романов. Типичный абонент фирменных платных библиотек, хватаю все свежие бестселлеры («Добрые друзья» Пристли, мемуары Брауна «Бенгальский улан», «Замок Броуди» Кронина – от такого не удержусь), больше года состоял членом Левого книжного клуба и в 1918-м, когда мне было двадцать пять, пережил настоящий книжный запой, немало-таки изменивший мой взгляд на жизнь. Но ничто не сравнится с годами открытия того, что, стоит лишь раскрыть дешевую, с грубой бумагой книжечку типа журнальной тетрадки, и вмиг очутишься в бандитском логове или китайской курильне опиума, на островах Полинезии или в лесах Бразилии.

Сильней всего я упивался чтением в возрасте от одиннадцати до шестнадцати. Сначала только тощенькие сборники для мальчиков (несколько очерков и рассказиков скверным шрифтом под аляповатой трехкрасочной обложкой), чуть позже уже книжки. Приключения Шерлока Холмса, Рафлза, Доктора Николы, Дракулы, Железного Пирата. Сочинения Ната Гулда, Рейнджера Гала и этого парня... забыл имя, который так же лихо писал про бокс, как Нат Гулд про бега и скачки. Будь родители лучше образованны, они наверняка пихали бы в меня «хорошую» литературу: Диккенса, Теккерея и тому подобное, и, кстати, в школе нас все же заставили продраться сквозь «Квентина Дорварда»^[28], а дядя Иезекииль

делал попытки возбудить во мне интерес к Рёскину и Карлейлю. Но в доме у нас книг-то фактически не водилось; отец за всю жизнь не открыл ни одной, разве что изредка заглядывал в Библию да в лечебник «Помоги себе сам», а личное мое согласие узнать «хорошую» литературу явилось уже много позже. И мне не жаль, что вышло так. Я читал вещи, которые хотел читать, из которых извлек больше, чем из того, что разбиралось на школьных уроках.

Грошовые сборники леденящих кровь историй начали исчезать, когда я был еще ребенком, однако дешевые выпуски приключенческих серий печатались регулярно, и кое-что из них до сих пор живо. Повести про следопыта Буффало Билла, думаю, забыты, Ната Гулда тоже, вероятно, уже не читают, но сыщики Ник Картер и Секстон Блейк вроде бы сохранили популярность. Где-то с 1905-го, по-моему, стали выходить детские журнальчики «Магнит» и «Колибри»; старина «Би-о-пи»^[29], кажется, выходит по сей день; примерно с 1903-го появился журнал «Друзья-приятели» – чтиво просто роскошное. Кроме того, энциклопедия (не помню точно ее название), которая издавалась отдельными тетрадками, пенни за выпуск. Подобная трата не считалась стоящей, но один мальчик в школе иногда отдавал мне старые экземпляры, и если я сегодня знаю длину Миссисипи, или разницу между осьминогом и каракатицей, или компоненты сплава колокольной бронзы – исключительно оттуда.

Джо читать вообще не хотел. Брат был из тех, кто учится-учится, а потом не в силах прочесть хоть десять строк подряд. От одного вида печатных текстов его мучило. Я видел, как иной раз Джо, раскрыв какой-то из моих журналов и пробежав абзац, брезгливо фыркал, будто лошадь, нюхнувшая гнилое сено. Он пытался и у меня отбить охоту к чтению, но отец с матерью, сочтя меня «способным», поддержали это мое пристрастие. Моя «книжность» им явно льстила, хотя, что характерно для обоих, родителей несколько огорчало сыновнее влечение к страницам «Друзей-приятелей» или «Юнион Джека», им бы хотелось тут чего-нибудь «полезней для ума». Правда, по недостатку знаний насчет книг, они довольно слабо представляли, что именно для ума полезней. Однажды мать мне все-таки купила подержанный томик Фокса, но читать эти «Жития мучеников»^[30] я не стал; иллюстрации, впрочем, разглядывал не без интереса.

Всю зиму 1905-го я каждую неделю выкладывал пенни за очередной номер «Друзей-приятелей» – там печатался умопомрачительный сериал «Донован Бесстрашный». Донован Бесстрашный был исследователем

дальних стран, которого американский миллионер нанял отыскивать и привозить со всего света разные дивные редкости: то, например, добытые в кратере африканского вулкана алмазы величиной с теннисный мяч, то бивни окаменевших мамонтов из морозных лесов Сибири, то тайные сокровища инков из затерянных перуанских городов. Донован каждую неделю совершал новую экспедицию, и всегда с потрясающим успехом. Любимым местом чтения у меня был чердак сарая на заднем дворе. Помимо прочего, когда отец там не возился, набирая новые мешки товара, это было самое тихое в доме место. Груда пустых мешков мягкой лежанкой, смешанный запах сыроватой штукатурки и семян, по углам паутина, прямо над головой потолочная отдушина среди облупившейся драночной сетки. Вижу и чувствую как сейчас: зимний, но достаточно теплый денек, а я лежу на животе, раскрыв перед собой номер «Друзей-приятелей». Словно кукушка из часов, из-за мешков внезапно выныривает мышь и замирает, уставясь на меня агатовыми бусинками глаз. Мне лишь двенадцать, но я Донован Бесстрашный. Одолев две тысячи миль по Амазонке, я только что раскинул свою палатку, и под походной койкой у меня в оловянной коробке надежно спрятаны корни таинственной орхидеи, цветущей один раз в столетие. А вокруг в лесной чаще натирающие зубы алым соком, живьем сдирающие кожу с белых людей индейцы племени хопи-хопи бьют в боевые барабаны. Я гляжу на мышонка, он глядит на меня, пахнет пылью, мякиной и штукатуркой, и я в амазонских джунглях, и это счастье, чистое счастье.

Ну вот, собственно.

Попытался рассказать вам кое-что насчет предвоенной жизни – жизни, нахлынувшей вдруг на меня по странному сцеплению с мелькавшим в газетах именем короля Зога, – и вряд ли что-то действительно рассказал. Или вы сами помните то время и в чужих описаниях не нуждаетесь, или не помните, и тогда песни мои мимо. Но я все говорил про годы до своих шестнадцати. До той поры у нас в семье дела шли, в общем-то, благополучно. А вот буквально накануне шестнадцатого дня рождения я получил первое представление о том, что принято называть «реальностью», подразумевая неприятности.

Дня через три после того как я увидел в Бинфилд-хаусе громадных сазанов, отец вышел к чаю взволнованный и еще более блеклый, еще гуще

обычного засыпанный мучнистой пылью. За столом, почитая процесс трапезы, он обронил всего несколько слов (жевал отец всегда очень сосредоточенно, усы его ходуном ходили вверх-вниз и даже вбок вследствие недостатка многих коренных зубов). Но только я поднялся из-за стола, он задержал меня:

– погоди, Джордж. Сядь, сынок, на минутку. Кой-чего надо мне тебе сказать. С тобой, мать, я уж вчера на ночь про это говорил.

Мать, сидя возле большого заварочного коричневого чайника, торжественно сложила руки на коленях и устремила на нас внимающий взгляд. Заговорил отец с необычайной серьезностью, слегка снижая впечатление попытками вытолкнуть языком застрявшую в глубине десен крошку.

– Сынок, кой-чего должен я сказать. Подумал я, прикинул – надо бы тебе сейчас отставить школу. Что тут поделаешь, пора уж помаленьку зарабатывать, матери на хозяйство приносить. Мистеру Бакенбарду я уж вчера написал, сказал, что забираю тебя со школы.

Конечно, так оно и полагалось: сперва уведомить директора, меня оповестить потом. Родители в те времена насчет детей решали, не спрашивая самих чад.

Отец продолжал взволнованно и довольно невнятно бормотать. Объяснять, что «плохие времена», что стало «трудновато», и потому придется уж нам с Джо хоть малые деньги давать на прожитие. Я тогда не понимал, вернее, меня не занимало, хорошо это или плохо – идти зарабатывать деньги. Коммерция от меня тогда была так далека, что я даже не уловил, почему вдруг нам стало «трудновато». А дело было в том, что отца подкосила конкуренция. «Сарацин» – торговавший семенами спрут с филиалами по всей стране – запустил щупальце и в Нижний Бинфилд. Полгода назад этот сетевой гигант арендовал на нашей Рыночной площади магазин, разукрасив его как игрушку: ярко-зеленый фасад, позолоченная вывеска, разноцветный садовый инвентарь, огромные, за сотню ярдов бьющие в глаза плакаты, восхваляющие душистый горошек. Помимо всевозможных семян «Сарацин» рекламировал свои «универсальные корма для скота и домашней птицы», причем, кроме обычного зерна, имел в ассортименте патентованные смеси, птичий корм в нарядных пакетиках, собачьи галеты всех форм и видов, микстуры, мази, полезные добавки, а также более широкий круг товаров, включая мышеловки, ошейники и поводки, сачки, инкубаторы, луковицы цветов, средства от сорняков, инсектициды, даже продававшихся в отделе под громким названием «животноводство» кроликов и суточных цыплят. Отец, с его пыльной

старой лавкой, с упрямым отказом от всяких новшеств, противостоять этому не мог и не стремился. Разъезжавшие по округе, торговавшие со своих конных фургонов коммерсанты и фермеры – поставщики зерна или семян поначалу сторонились хватких управителей «Сарацина», однако довольно скоро местная благородная публика (то бишь владельцы хоть каких-то лошадей и экипажей) дружно сплотила свои ряды. Для отца и еще одного торговца того же профиля, Уинкля, это означало огромные убытки. Но до меня, относившегося ко всему еще по-детски, ситуация не доходила. Семейный бизнес меня нисколько не интересовал; я практически никогда не помогал в магазине, и если порой требовалось сбегать куда-то с отцовским поручением или помочь втащить-вытащить мешки с товаром, обычно старался отвертеться. Ребята у нас в классе были не такими младенцами, как ученики закрытых школ, – знали, что такое работа и что такое шестипенсовик, но ведь мальчишке отцовское дело, естественно, только скука. Удочки, велосипеды и шипучий лимонад ценились мной тогда стократ больше чего-либо из мира взрослых.

Отец уже поговорил со старым Гримметом, бакалейщиком, искавшим бойкого парнишку и готовым взять меня немедленно. Отцовского юного подручного решено было рассчитать; предполагалось, что его обязанности временно, до получения стабильного места, возьмет на себя Джо. Джо, еще раньше покинувший школу, болтался тогда без определенных планов на будущее. Временами отец высказывал намерение пристроить его в бухгалтерию пивоваренного завода, а до того бродила мысль о его карьере аукциониста, – проекты в равной степени безнадежные, поскольку семнадцатилетний Джо писал как курица лапой и не сумел освоить таблицу умножения. В данный момент он, как считалось, «учился торговому делу» в большом велосипедном магазине на окраине Уолтона. Возня с железками велосипедов отвечала натуре Джо, подобно большинству оболтусов имевшего некую склонность к механике, но из-за неспособности трудиться он главным образом проводил время, шляясь в засаленном комбинезоне, дымя сигаретами, ввязываясь в потасовки, выпивая (он уже начал), находя случаи «потрепаться» то с одной, то с другой девчонкой и настырно выпрашивая деньги у отца. Отец же в тот период был встревожен, озадачен и внутренне как бы обижен. В течение многих лет его коммерческая прибыль медленно, но постоянно росла (в том году на десять фунтов, в этом – на двадцать...), и вдруг цифры доходов пошли вниз. Но почему? Бизнес он унаследовал от своего родителя, торговал честно, трудился упорно, товар продавал качественный, никого не обманывал – и вдруг почти нет прибыли? Нередко он, пообедав и справляясь с застрявшей в

зубах крошкой, заводил речь о том, что времена плохи, торговля идет еле-еле и он не понимает, куда это нынче людей повело (прямо как если бы коню овес стал не по вкусу). Видно, делал он вывод, это все автомобили. «Вонючки гадкие!» – вставляла считавшая долгом поддержать отца, хотя отнюдь не столь встревоженная мать. Бывало, во время отцовских рассуждений я замечал на ее лице отсутствующий взгляд и слегка шевелящиеся губы: мать решала, тушить ли завтра говядину с морковью или опять баранину. Кроме завтрашнего меню, ей требовалось поразмыслить насчет покупки полотна на простыни или новых кастрюль, а относительно тревог отца она видела только, что в магазине у него что-то не ладится и он расстроен. Вообще никто в нашем семействе ситуацию по-настоящему не понимал. Отец переживал, что год выдался неудачный, но страшился ли он грядущих бед? Не думаю. Год-то, не надо забывать, был 1909-й. Отец не знал, какая катастрофа его ждет, он не сумел предугадать, что «Сарацин» будет систематически ставить цены ниже, чем у него, что его попросту раздавят и проглотят. Да и как мог он представить такое? Подобного не случалось в дни его молодости. Ему было известно про наступающие иногда «плохие времена», когда торговля «не идет» (это он нам и повторял), но ведь, конечно же, дела опять «пойдут».

Приятно было бы тут рассказать, как я ринулся помогать отцу в его несчастье, как я, внезапно повзрослев, проявил качества, которых никто во мне не подозревал, и прочее и прочее – все, о чем выразительно писалось в толстенных романах тридцатилетней давности. Не менее приятно было бы сообщить, что я горько страдал от жестокой необходимости бросить учебу, что мой юный пытливый ум, рвавшийся к знаниям, изнывал в тоске от тупой, каторжной работы, и прочее и прочее – о чем выразительно повествуют толстые романы сегодня. Красивые слова. На самом деле идея пойти работать мне понравилась, особенно вдохновила мысль о том, что старый Гриммет собирается платить в неделю двенадцать шиллингов, четыре из которых я смогу оставлять себе. Даже огромные сазаны Бинфилд-хауса, заполнявшие до этого мои думы, вмиг померкли. Я совершенно не возражал покинуть школу на несколько семестров раньше. Обычный случай среди моих однокашников. Паренек собирался в университет или готовился в инженеры, строил планы «подучиться бизнесу» в Лондоне или податься в моряки, а потом раз – уведомление директору, и через день парнишки в классе уже нет, и пару недель спустя его встречаешь: развозит на велосипеде овощи. Все пять минут, в течение которых отец излагал обстоятельства, вынуждающие забрать меня из школы, я напряженно обдумывал вопрос о новом костюме, необходимом

для появления на службе. После чего тут же стал требовать себе «взрослый костюм» и непременно с модным в то время у джентльменов однобортным сюртуком (назывался он, кажется, «визитка»). Шокированные отец с матерью сказали, что «не желают даже слышать о таких вещах». По какой-то не совсем понятной мне причине родители тогда до последнего сражались против чего-либо взрослого в облике юных дочерей и сыновей. В каждом семействе шла упорная борьба, прежде чем парень надевал свой первый высокий воротничок или девушка закручивала волосы наверх.

Так что разговор о постигших наш бизнес неприятностях ушел далеко в сторону, вылившись в нудное ворчание отца с бесконечным повторением одного и того же (и характерным у отца в минуты раздражения простецким комканьем слов): «Те грят, значит, – не будет этого... Слышь, что те грят – не будет...» Короче, «визитку» мне не купили; начинать трудовую жизнь я пошел в готовом черном костюме и сорочке с отложным воротничком, благодаря чему выглядел деревенским переростком. Ничего хорошего, думал я в досаде на этот наряд, нашей семье ждать не приходится. Джо своим эгоизмом перещеголял даже меня. Взбешенный необходимостью покинуть велосипедный магазин, он то недолгое время, что оставался дома, просто бездельничал и мешал покупателям, не помогая отцу абсолютно ничем.

В бакалее старого Гриммета я проработал почти шесть лет. Гриммет, осанистый старикан с седыми бакенбардами, был тверд в убеждениях наподобие дяди Иезекииля и тоже либерал, но отнюдь не такой смутьян и пользовался в городке большим уважением. Во время Бурской войны он держал нос по ветру, яростно обличал профсоюзы, даже уволил помощника, хранившего фото Кейра Харди^[31]; кроме того, он был «сектантский» – чуть ли не старшина у баптистов, в этой их молельне (наше-то семейство было «церковным»^[32], а дядя Иезекииль религию и вовсе отвергал). Старый Гриммет являлся членом городского совета и ответственным лицом в местном отделении партии лейбористов. Проходя мимо баптистской молельни, слыша, как он там во весь голос разливается насчет свободы, совести, Великого Старца^[33] и бюджетного кризиса, а в заключение возносит импровизированную молитву, трудно было не вспомнить бакалейщика-сектанта из популярного анекдота:

- Джеймс!
- Да, сэр?
- Песку в сахар подсыпал?
- Да, сэр.

- Воды в патоку подлил?
- Да, сэр.
- Ну тогда вознесем молитву Господу!

В магазине, где, перед тем как открыть ставни, день начинался с обязательной молитвы, анекдот этот при мне повторяли шепотком несчетное количество раз. Песок в сахар Гриммет, разумеется, не подсыпал (знал, что тут много не выгадать), но в бизнесе он был действительно мастак. Его первоклассная бакалея славилась в Бинфилде и окрестностях, с ним работали три помощника, кроме них имелся еще мальчишка на побегушках и свой возчик фургона, а за кассой у него, вдовца, сидела дочь. Первые полгода я носился с поручениями, затем, когда один из продавцов уехал «обосноваться» в Рединге, меня переместили в магазин и обрядили в первый мой белый передник. Я учился перевязывать пакеты, заворачивать в кульки коринку, размалывать кофе, нарезать тончайшими ломтиками бекон, натачивать ножи, подметать, бережно обтирать хрупкие куриные яйца, выдавать неважнецкий продукт за наилучший, мыть окна, на глаз отмерять фунт сыра, вскрывать тару, делить плитку масла на ровные бруски и – что было трудней всего – помнить, где что лежит. О бакалее таких ярких, точных подробностей, как о рыбалке, в моей голове не осталось, но все же сохранилось многое. Пальцы мои до сих пор миглом управятся с упаковочной бечевкой, а дайте мне кусок бекона, я нарублю вам его ломтиками-лепестками проворней, чем отстукаю слова на своей пишущей машинке. Я мог бы завалить вас сведениями насчет сортов чая, составов маргарина, среднего веса яиц и цен на тысячу бумажных пакетов.

Ну вот, больше пяти лет я – шустрый курносый парнишка с розовыми щеками и светлыми волосенками (которые уже не стриглись коротко, но тщательно помадились и зачесывались, «зализывались», назад), в белом фартуке, за ухом карандаш – мельтешил за прилавком, молниеносно отвешивая пакетики кофе и обжуливая покупателей под елейно-бодрые: «Да, мэм! Сей момент, мэм! Желаете ще че-нибудь, мэм?» Старый Гриммет выжимал нас изрядно: работали мы, кроме четвергов и воскресений, по одиннадцать часов, рождественские недели вообще были сплошным кошмаром. Но все-таки, оглянувшись назад, – неплохое время. Не думайте, что я был вовсе без амбиций, что собирался весь век служить помощником у бакалейщика, просто я «вникал в дело». Придет время, скоплю денег, чтобы «обосноваться» самостоятельно (обычные тогда, вполне реальные людские планы). Мир ведь был еще довоенный, до всяких кризисов, пособий по безработице. Места еще хватало для каждого, и лишний магазинчик всегда был кстати. А время шло: 1909-й, 1910-й, 1911-й. Умер

король Эдуард, газеты вышли с траурной рамкой. В Уолтоне открылись два кинотеатра. Привычными стали автомобили, по дорогам побежали автобусы. Аэроплан – шаткая, ненадежная конструкция с парнем, сидевшим в середине на некоем подобии стула с прямой спинкой, – пролетел над Нижним Бинфилдом, и все жители с криком выбежали на улицу. Начали поговаривать, что германский император слишком нос задирает и «того самого» (то есть войны с немцами) не миновать. Зарплата моя понемногу росла, достигнув перед войной двадцати восьми шиллингов в неделю. Матери на хозяйство я давал десять, потом, когда с деньгами дома стало совсем туго, – пятнадцать, но и с остававшейся у меня суммой я чувствовал себя таким богачом, каким уж никогда не ощущал впоследствии. Мой рост прибавился на дюйм, у меня проросли усики, я носил ботинки на кнопках и невероятной высоты воротнички. По воскресеньям в церкви, в своем щегольском темно-сером костюме, в котелке, с лежащей рядом на скамье парой черных лайковых перчаток, я выглядел прямо-таки джентльменом, мать едва сдерживала гордость своим сыночком. Между работой, «гуляниями» по четвергам, размышлениями об одежде и девушках я предавался тщеславным мечтам о превращении в знаменитого крупного дельца типа Левера или Уильяма Уайтлиза^[34]. Два года я усердно готовился к карьере бизнесмена и «развивал себя»: шлифовал свою речь, избавлялся от жаргонных словечек (в долине Темзы деревенский выговор исчезал, почти все родившиеся после 1890-го усваивали говорок лондонских кокни). Поступив на заочные курсы частной коммерческой академии, я изучал бухгалтерию и деловой английский, благоговейно штудировал дикую чушь многостраничного пособия под названием «Искусство продаж», совершенствовал познания в арифметике и даже почерк. Семнадцатилетним верзилой сидел ночью за столиком в спальне и при свете керосиновой лампы старательно, высунув кончик языка, копировал прописи. Временами я накидывался на чтение: обычно приключения и детективы, а подчас обернутые бумагой книжки, что прятались от посторонних глаз и у парней из магазина ходили как «горяченькое» (в основном переводы романов Мопассана и Поля де Кока). Но в восемнадцать лет меня вдруг потянуло умствовать, я записался в библиотеку графства, начал жадно поглощать сочинения Мэри Корелли, Холла Кейна, Энтони Хоупа. Примерно тогда же я стал посещать собрания Общества книголюбов Нижнего Бинфилда, где вечерами раз в неделю под руководством викария велись «литературные дискуссии». Под нажимом викария я прочел (отрывками) изысканное сочинение Рёскина «Сезам и Лилии», имел даже намерение почитать Браунинга.

А годы шли: 1910-й, 1911-й, 1912-й. И отцовский бизнес хирел (не рушился обвалом, но неуклонно сокращался). К тому же родители резко сдали после того, как Джо сбежал из дому. Произошло это всего месяцем позже начала моих трудов у Гриммета.

К восемнадцати годам Джо вырос в отпетого балбеса. Здоровенный, ростом выше всех в семействе, с квадратными плечами и вечно хмурым выражением тяжелого лица, на котором уже красовались густые усы, он если не сидел со стопкой или кружкой в «Георге», то часами простаивал, руки в карманах, у двери нашего магазина. Подпирал косяк, мрачно глаза на прохожих, оживляясь лишь при виде девушек, которых всегда жаждал подцепить. Если приходил покупатель, он только слегка сторонился, позволяя тому войти, и орал: «Па-ап! Клиент!» Как-либо содействовать торговле ему и в голову не приходило. «Ну что ж с ним делать?» – удрученно повторяли друг другу отец с матерью, а Джо нахально тянул с них деньги на выпивку, на бесконечную курежку. Однажды ночью брат удрал, исчез навеки и невесть куда. Перед уходом он вскрыл кассу, забрал всю наличность (по счастью, не так много, около восьми фунтов). Ему хватило бы четвертым классом добраться до Америки, куда он всегда страстно мечтал уехать, и, может, он действительно подался в свою Америку – вестей мы от него не получили. Городок слегка побурлил. Большинство голосов была принята версия о трусливом бегстве в связи с беременностью Салли Чиверс, жившей там же, за заводом, где ютилось семейство Симонс. Джо хороводился с этой девчонкой, но, поскольку у нее имелась еще дюжина кавалеров, отцовство точно выяснить не удалось. Родители наши версию насчет Салли приняли, между собой они даже простили «бедного мальчика» и за кражу, и за бегство. Им было невозможно представить себе, что их Джо хотел смыться, так как не выносил благопристойного существования в тихом провинциальном городке и рвался к жизни с драками, девицами, лихой гульбой. О судьбе Джо мы так и не узнали. То ли скатился на самое дно, то ли убили на войне, то ли просто ленился черкнуть пару строк. Младенец у его подружки родился мертвым – тут, к счастью, обошлось без осложнений. Что касается кражи восьми фунтов, этот факт родители скрыли и тайну унесли в могилу (своровать деньги в их глазах было значительно позорней, чем сделать ребенка Салли Чиверс).

Беда с Джо сразу состарила отца. Без пропавшего Джо, по правде говоря, жить стало только легче, но побег сына ранил и наполнил стыдом. Усы отца сплошь поседали, и сам он будто сделался ниже ростом. Видимо, врезавшийся в мою память образ сутулого седого человечка с морщинами

на круглом встревоженном лице и запыленными очками – это отец именно тех дней. Все больше погружаясь в свои растущие финансовые неурядицы, он проявлял все меньше интереса к чему-либо иному. Все реже им заводились разговоры о политике или воскресных газетах, все чаще – об ухудшении продаж. Мать тоже словно увяла. С детства она – крупная, полная, с густыми светлыми волосами, сияющим лицом и пышной грудью – виделась мне величаво-прекрасной, как изваяния на носу деревянных кораблей. Теперь же она как-то съежилась, состарилась не по годам, в ней появилась суетливость. На кухне мать утратила манеру гордой владычицы: нередко готовила к обеду баранью шею, нервничала из-за цен на уголь, начала использовать маргарин, прежде в нашем доме не допускавшийся. Когда Джо скрылся, вновь потребовалось нанять в магазин юного подручного, но отец, экономя, стал нанимать на год-два совсем еще мальчишек, слишком слабых, чтобы таскать тяжести. Иногда я, если был дома, помогал, но, по свойственному мне эгоизму, делал это далеко не всегда. До сих пор у меня в глазах картина: отец переползает двор, согнувшись пополам, почти невидимый под мешком на спине, словно улитка под своей раковиной; громадный, фунтов полтора весом, мешок пригибает отцовскую голову почти к самой земле, озабоченное лицо в очках напряженно глядит исподнизу. В 1911-м отец, надорвавшись, слег в больницу и был вынужден взять для магазина временного управляющего, проевшего еще одну дыру в куцем отцовском капитале. Катящийся под гору мелкий магазинчик – тяжкое зрелище; это не работяга, в одночасье, ясно и конкретно уволенный, севший на пособие. Нет, торговля ваша еще трепыхается, еле дыша мизерными убытками-прибытками: нынче несколько шиллингов в минус, завтра пара шиллингов в плюс. Кто-то из давних постоянных клиентов перебегает к «Сарацину», кто-то, заведя дюжину кур, заказывает вам корм на неделю. Вы продолжаете как-то держаться, все еще «сам себе хозяин», только все более нервный, на вид все более потертый, с устрашающе тающим бюджетом. Так может продолжаться годами, а повезет – до самой смерти. В 1911-м умер дядя Иезекииль, оставив сто двадцать фунтов, очень, конечно, поддержавших отца. Свой страховой полис отцу пришлось заложить лишь в 1913-м.

Ничего этого я в те годы не видел, вернее, не понимал. Соображения мои не шли дальше того, что за прилавком у отца «не клеится», в его торговле «спад», и нужно время подкопить своих денег, чтобы «наладить дело». Подобно самому отцу воспринимал я наш магазин как нечто вечное и нерушимое, а потому был расположен гневаться на отцовскую неделовитость. Частенько, проходя по торговой площади мимо «Сарацина»,

я сравнивал его роскошно сверкающий фасад с нашей облупленной вывеской, на которой уже едва читалось остатками белых букв «С. Боулинг...», с нашей мутной витриной, где пылились тусклые пакетики птичьего корма. Мне в голову не приходило, что «Сарацин», как червь-паразит, алчно гложет, живьем сжирает моего отца. Начитавшись пособий своих заочных курсов, я поучительно твердил отцу о технологии продаж и современных методах коммерции. Он не особенно слушал, ведь он давно вел старинный, наследственный бизнес, трудился честно и усердно, предлагал всегда добротный товар, так что вот-вот все образуется. Надо сказать, не много тогдашних мелких магазинчиков закончили в работном доме. Большинству удалось уйти на тот свет хоть и крайне обедневшими, но все-таки владельцами дела, жилья, имущества. Тут шла, так сказать гонка, что скорей настигнет: смерть или банкротство, и, спасибо Господу, отец, а вслед за ним и мать, успели раньше умереть.

Но вообще жилось в начале 1910-х совсем не плохо. Под конец 1912-го я через викария из Общества книголюбов познакомился с Элси Уотерс. Хотя, как все юнцы в городке, я высматривал подружек, изредка даже договаривался встретиться с какой-нибудь и «прогуляться» воскресным днем, своей девушки у меня никогда не было. Не так-то просто стать ухажером, когда тебе шестнадцать. Имелось в городе такое место, где парнишки по двое прохаживались, поглядывая на девчонок, а те, прохаживаясь там же и тоже по двое, юных охотников как бы не замечали, но, с установлением некоего контакта, мальчишеская и девчоночья пары бродили дальше уже вчетвером, причем все четверо практически безмолвно. Главной сложностью этих хождений (особенно если ты оказывался с девушкой наедине) являлась кошмарная неспособность завести хоть какой-то разговор. Но с Элси Уотерс все вышло иначе. Правда, я уже слегка повзрослел.

Я это не к тому, чтобы рассказывать историю про нас с Элси, хотя история была, конечно. Просто для полноты картины той жизни – «перед войной». Лето (да, понимаю, не всегда, но опять вижу лишь его), белая пыльная дорога, по краям ряды каштанов, аромат левкоев, зеленые пруды под ивами, плеск Барфордской плотины – вот так мне вспоминается «перед войной», и Элси непременно частью этого.

Не знаю, смотрелась бы она хорошенькой теперь. А тогда очень. Высокая, ростом почти с меня, копна густых белокуро-золотистых волос, обычно заплетенных в косы венком вокруг головы, и нежное, удивительно кроткое лицо. Она принадлежала к типу девушек, которым идет черное, особенно такие, совсем простые черные платья, которые полагались

продавщицам тканей, – Элси работала у нас в «Лиллиуайтсе»^[35], хотя приехала из Лондона. Была она, я полагаю, года на два старше меня.

Я благодарен Элси, первой научившей меня любовно относиться к женщине (не всякой вообще, а к некой определенной женщине). Увидел я ее в Обществе книголюбов, но едва обратил внимание, а потом как-то зашел в «Лиллиуайтс»; пришел совершенно случайно, среди рабочего дня, потому что в бакалее кончилась марля, которой покрывают масло, и старый Гриммет послал меня купить новый марлевый отрез. И знаете, эта специфичная атмосфера в магазине тканей, что-то такое очень женское: тишина, приглушенный свет, резковатый запах новой материи, глухой стук снятых с полок, раскатываемых по столу рулонов. Наклонившись над прилавком, Элси длинными ножницами отрезала очередные футы ткани, под черным платьем обозначились округлости ее груди – сильнейшее и странное впечатление: перед тобой нечто нежное, мягкое, слабое, незащитное. Глядя тогда на Элси, ты чувствовал, что ее можно обнять и делать с ней что хочешь. Она действительно была необычайно женственной, очень ласковой и покорной: какой-то послушной малышкой, хотя физически не отличалась ни миниатюрностью, ни хрупкостью, – но не глупышкой, просто тихой и временами поражавшей своей чистотой. Да я и сам еще был юношей довольно чистым.

Мы были вместе чуть больше года. Разумеется, как тогда допускалось быть вместе в Нижнем Бинфилде. Официально я «ходил» с ней – вполне легальная форма отношений, однако далеко не то же, что помолвка. От грунтового шоссе на Верхний Бинфилд ответвлялась и тянулась вдоль подножия холмов еще одна дорога. Прямая, длинная, около мили, по сторонам огромные каштаны, а в траве под деревьями тропинка, прозванная «тропой влюбленных». Мы гуляли там майскими вечерами, когда цвели каштаны. Ночи становились короткими, и в часы после работы было еще достаточно светло. А хороши июньские вечера. Густеют синие сумерки, ветерок, словно шелком, гладит твои щеки. Иногда днем по воскресеньям мы брели через Чэмфордский холм к Темзе, на заливные луга... 1913-й! Господи, 1913-й! Тишь да покой, лента воды, бегущей от плотины! Нет, никогда уж не вернется. Я не про 1913-й – про то чувство внутри, когда не маялся вечными страхами и не задыхался от спешки; чувство, которое вам памятно и без моих рассказов или же неизвестно, а тогда вам его уже не изведать.

Близости у нас не случалось до последнего лета наших встреч. Я был слишком застенчив, неуклюж, чтобы настаивать, и слишком несведущ для понимания, что буду у нее не первым. Однажды воскресным днем мы с

Элси отправились в буковый лес Верхнего Бинфилда (там, наверху, всегда ждало уединение). Я ужасно хотел ее и точно знал, что Элси тоже полна готовности. И почему-то вот мне стукнуло в голову непременно пробраться на территорию «Усадьбы». Старик Ходжес, которому уже перевалило далеко за семьдесят, мог нас турнуть, но в такой час он, скорее всего, прилег поспать после обеда. Мы пролезли через дыру в заборе и по дорожке между буками вышли к большому озеру. Уже года четыре я туда не приходил. Ничто не изменилось. Все то же абсолютное безлюдье, ощущение, что ты спрятан от мира стеной обступивших могучих деревьев, все тот же ветхий лодочный сарай, гниющий в камышах. Усевшись на бережку, в зарослях дикой мяты, мы чувствовали, что одни, словно в пустынных землях Центральной Африки. После несчетных поцелуев я поднялся и стал бродить поблизости. Мне ужасно хотелось, меня жгло желание сделать решительный шаг, но страх тоже присутствовал. И любопытно: в тот самый момент я вдруг подумал совсем о другом. Меня вдруг осенило, что я ж годами сюда собирался, и все никак, и будет чертовски обидно, находясь так близко, не дойти до второго озера, не взглянуть на тех громадных сазанов. Обидно же, я не прощу себе потом, что упустил эту возможность. Столь глубоко засевшие во мне и никому, кроме меня, не ведомые, столько лет призывавшие меня – практически *мои* сазаны. И я решительно направился сквозь лес в известном направлении, однако, отойдя ярдов на десять, повернул обратно. Как продираться в джунглях ежевики и трухлявого сухостоя, когда на мне мой выходной наряд? Темно-серый костюм, котелок, ботинки на кнопках и жесткий как железо крахмальный воротничок под самые уши (вот как мужчины тогда обряжались днем на воскресную прогулку). И я ужасно хотел Элси. Я вернулся и на миг замер, глядя на нее. Она лежала в траве, прикрыв ладонью глаза, и не пошевелинулась, услышав рядом мои шаги. Она так выглядела, лежа в своем черном платье, – ну, как-то так нежно, уступчиво, как будто ее тело манило согласной, гибкой податливостью. Элси была моя, она ждала меня. Внезапно я перестал бояться, скинул свой котелок (помню, как он подпрыгнул на траве), опустился на колени и крепко обхватил ее. В ноздри бил запах дикой мяты. Для меня это был первый раз, для нее не первый, так что все прошло более-менее гладко. В общем, это произошло. Огромные сазаны опять исчезли из сознания, и позже я почти не вспоминал о них.

1913-й, 1914-й... Да, весна 1914-го. Вначале зацветает терн, потом боярышник, потом в цвету каштаны. Воскресная прогулка, ветер качает высокую траву и гонит волнами, будто густую массу женских волос.

Бесконечный июньский вечер, тропинка под каштанами, гулкое уханье совы, прижавшееся ко мне тело Элси. Июнь в том году стоял жаркий. Как мы потели в магазине, как густо там пахло сыром и молотым кофе! А потом вечерняя свежесть улицы, пряный аромат левкоев, табачные дымки в проулках позади дворов, мягкая пыль под ногами, над головой вьются козодои, хищно преследуя майских жуков.

Господи! Почему презирают сентименты насчет «до войны»? Я вот *очень* сентиментален насчет этого. А вы, если помните, разве нет? Всегда, оглянувшись назад, первым делом вспоминаешь какие-то приятные моменты, даже из военных лет. Но тогда, «до войны», у людей впрямь имелось кое-что, чего теперь ни грамма нет.

Что? Да просто о будущем не думалось как о неотвратимо нависшем кошмаре. Не то чтобы жизнь была легче. Фактически она была трудней. Люди и вкалывали больше, и жили менее комфортно, под старость совсем худо. Фермерский рабочий, весь век ишачивший от зари до зари за четырнадцать шиллингов в неделю, заканчивал полным инвалидом с официальной пенсией по старости в пять еженедельных шиллингов плюс, может быть, еще полкроны от прихода. Так называемая благопристойная бедность подчас оказывалась даже хуже. Когда низенький, неприметный Уотсон, тихо торговавший тканями в лавочке на дальнем углу Главной улицы, после долгой борьбы за выживание «потерпел крах» («не выкарабкался»), его капитал по описи составил два фунта девять шиллингов шесть пенсов, и он буквально в те же дни скончался от «желудочных резей», а проще говоря, полагал врач, – от голода. Однако горемыка до конца цеплялся за свой респектабельный сюртук. Помощник часовщика Кримп, искуснейший мастер, трудяга, корпевший с юных лет на протяжении полувека, нажил себе катаракту и вынужден был пойти в работный дом. Внуки, провожая старика, рыдали на улице в голос. Жена, нанимаясь поденной уборщицей, билась, чтобы послать ему хоть шиллинг на карманные расходы. Случалась, конечно, всякая жуть: прогорали мелкие коммерсанты, до абсолютной нищеты иногда разорялись солидные ремесленники или уличные торговцы, кого-то настигала мучительная смерть от рака или цирроза печени, пьяницы каждый понедельник давали женам клятву завязать и каждую субботу вновь напивались вдрызг, девушки калечили себе судьбы внебрачными младенцами. В домах не было никаких ванн, в умывальных тазах зимним утром намерзал лед, глухие улочки в жару нестерпимо воняли, кладбище располагалось посреди города ежедневным напоминанием о твоём конце. Так что же все-таки имелось у людей? Ощущение надежности даже в ненадежных

обстоятельствах. Точнее – ощущение прочности. Все знали, что придется умирать, а кое-кто, должно быть, понимал и то, что лично у него впереди крах, но никто не догадывался, что весь порядок вещей может измениться. С тобой могло произойти многое, но определенным, известным тебе образом. Не думаю, что тут большую роль играла еще достаточно распространенная «приверженность религии». Конечно, почти все, во всяком случае в провинции, ходили в церковь (мы с Элси тоже считали это обязательным, даже когда жили в том самом грехе, о котором говорил священник), и, спроси тогда у людей, верят ли они в загробную жизнь, большинство сразу бы ответили, что верят. Хотя мне как-то не встречалось никого, кто убедил бы меня насчет безусловной личной веры в свое потустороннее существование. По-моему, тут чаще нечто сродни детской вере в Деда Мороза. Но когда жизнь отлажена, когда она устойчива, как слон на его капитальных четырех опорах, штуки вроде загробной жизни особого значения не имеют. Гораздо легче умирать, зная, что все, чем ты так дорожил, будет жить дальше. А ты прожил свой срок, устал, пришла пора тебе уйти – вот как это виделось людям. Персонально конец, но жизнь, не прерываясь, бежит по тем же рельсам: что было при тебе добром и злом, этим добром и этим злом останется. Земля у людей не шаталась под ногами.

Отец разорялся, не сознавая ситуации: просто времена плоховаты, продажи сокращаются, и все трудней оплачивать счета. Слава-те Господи, он не узнал, что прогорел дотла, не узнал своего постыдного банкротства, так как скоропостижно умер (грипп, перешедший в пневмонию) в начале 1915-го. Умер в твердом убеждении, что честность, усердие и бережливость к худому не приведут. Тогда многие разоренные торговцы сохраняли это убеждение не только на смертном одре, но и в работном доме. Даже шорник Лавгроу, глядя на вереницы автомобилей и автофургонов, не понимал, что устарел как ископаемый носорог. Мать тоже – тоже не дожила, не узнала, что жизнь, в которой она выросла: была дочерью скромного, но достойного богобоязненного коммерсанта, а потом женой скромного, но достойного богобоязненного коммерсанта, – эта жизнь вместе с царствованием славной королевы Вики канула навсегда. Трудные времена, плохие для торговли, отец волнуется, разные разности теперь «похуже», но действуешь-то как обычно. Старый английский уклад никому не изменить. И впредь из века в век достойные богобоязненные женщины будут готовить йоркширский пудинг, запекать на огромной плите яблоки в тесте, носить шерстяное нижнее белье, спать на перинах, в июле варить сливовый джем, в октябре заготавливать соленья, часок в день

почитывать «Друга и помощника» под жужжание мух в своем уютном мирке распаренного чая, уставших ног и счастливых концовок. Конечно, к старости отец с матерью были уже не те: кое-что их смущало, сбивало, порой удручало. Но им хотя бы не пришлось увидеть, как все святые для них вещи оказались кучей старого хлама. Их жизнь пришлась на край эпохи, когда все рушилось, летя в страшный водоворот, а они думали – их мир навеки. Упрекать их не в чем. Так они чувствовали.

Июль подходил к концу, и даже Нижний Бинфилд уловил приближение каких-то больших событий. Возникла смутная, но сильная тревога, невероятно разрослись редакционные статьи в газетах, с которыми отец буквально неся из магазина в кухню – прочесть матери. И вдруг всюду плакаты:

ГЕРМАНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ. ВО ФРАНЦИИ МОБИЛИЗАЦИЯ

Несколько дней (четыре вроде бы? Я всегда забываю числа, даты) царило ощущение какой-то предгрозовой духоты, словно вся Англия замерла в ожидании. Помню, стояла ужасная жара. В магазине мы работали как лунатики, хотя уже каждый в округе, имевший хоть пяток монет, ринулся запасать, мешками закупать муку, консервы и овсянку. Мы отвешивали, паковали товар в таком внутреннем напряжении, что были, кажется, способны лишь потеть и ждать. Вечерами народ собирался у станции – биться за доставленные поездом из Лондона вечерние газеты. Затем как-то в полдень по Главной улице промчался мальчишка с охапкой газетных афиш, и люди, выбегая на порог, наперебой стали выкрикивать: «Вступили! Мы вступили!» Вытащив из связки очередную афишу, мальчишка приляпал ее к витрине магазина напротив:

АНГЛИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ

Мы, трое помощников бакалейщика, с радостным воплем выскочили на тротуар. Все ликовали. Да-да, ликовали. Один старый Гриммет, уже успевший, кстати, неплохо заработать на угрозе военных лишений, но верный лейбористским принципам «не соглашаться» на войну, обронил, что предвидится скверное дело.

Через два месяца я был в армии. Через семь – на французском фронте.

Ранило меня только в самом конце 1916-го.

Выйдя из траншей, мы отошли по дороге примерно на милю назад, на безопасный, как считалось, участок, который немцы, однако, успели раньше пристрелять. Внезапно они выпустили несколько снарядов – всего несколько снарядов из тяжелых орудий. Засвистело привычное ушам «цвии-и-и-иу» и тут же где-то справа «бу-ух!». Меня достал вроде бы третий. Я уже по летящему звуку понял – этот мне. Говорят, всегда слышишь, когда твой. Снаряд тогда не просто свистит, а прямо-таки выговаривает: «Иду по твою душу гребаную, по твою, твою, ТВОЮ!» И затем взрывает ТЕБЯ.

Меня будто сгребло каким-то мощным вихрем, подняло и с размаху шмякнуло на землю, бессильным мешком костей швырнуло на кучи мятых жестянок, щепок, солдатского дерьма, пустых коробок от патронов, ржавой колючей проволоки и всей прочей дряни в придорожной канаве. Когда меня оттащили, слегка отчистили, выяснилось, что ранение не особо страшное – осколками изодрало задницу и ляжки. Но, к счастью, при падении я сломал ребро, чего было достаточно для отправки обратно в Англию. Так что зиму мне довелось прокантоваться в госпитальном лагере «на холмах»^[36] близ Истборна.

Помните те военные госпитальные лагеря? Длинные ряды дощатых барачков, этих курятников на зверски холодных вершинах холмов (холмов нашего «южного побережья», где невольно думалось: а что ж тогда на «северном»?), где тебя разом продували ветры со всех концов света. И стада обряженных в голубую байку, обмотанных бинтами покалеченных парней, уныло бродящих по склонам в безнадежных попытках где-то спрятаться от ветра. Иногда наверх чинной парной цепочкой приводили мальчиков из дорогих школ Истборна, дабы детки вручили доблестным «раненым Томми» сигареты и мятные помадки. Румяный чистенький мальчик подходил к кучке сидящих на траве парней в бинтах и, раскрыв пачку «Жимолости», торжественно раздавал всем по сигарете, словно по ореху мартышкам в зоопарке. Раненые с достаточным запасом сил совершали дальние походы в поиске девушек. Девчонок, живших поблизости, всегда не хватало. В долине под нашим холмом имелась жиденькая рощица, и в сумерках у каждого ствола виднелась слившаяся парочка, а возле широких стволов, бывало, и по паре с разных сторон. Больше всего мне помнится о той зиме, как я сижу на ледяном ветру у куста дрока, пальцы не гнутся от холода, а во рту вкус мятной помадки. Типичное солдатское воспоминание. Но для меня жизнь рядового уже фактически закончилась. Как раз перед ранением я был внесен командиром

в список назначенных на дальнейшую армейскую учебу. К тому времени обнаружился отчаянный недобор командного состава, и всякий мало-мальски грамотный при желании мог получить подобное назначение. Прямо из госпиталя меня переправили в учебный офицерский лагерь под Колчестером.

Странные штуки выделявала с людьми война. Всего три года назад я, шустрый помощник продавца, угождавший за прилавком: «Да, мэм! Сей момент, мэм! Желаете ще че-нибудь, мэм?» – и видевший себя в мечтах солидным лавочником, об офицерстве помышлял не больше, чем о посвящении в рыцари. И вот уже я – на голове фасонистое кепи, вокруг шеи желтый воротник – важно расхаживаю среди новоявленных, частично даже от рождения благородных, господ офицеров. И главное, как будто так и надо. Ничего не казалось тогда странным.

Тебя вертело и крутило в недрах громадной машины, а ты безвольно подчинялся, даже не помышляя хоть как-то воспротивиться. Явись вдруг в людях чувство элементарного протеста, никакой войне не продлиться бы дольше трех месяцев. Военным осталось бы только сложить манатки да разойтись по домам. Ну почему я оказался в армии? Почему миллионы других идиотов прямо-таки рвались исполнить свой воинский долг? Отчасти ради лихой молодецкой забавы, отчасти «Англия, моя Англия!», «нигде и никому британцев не сломить!» и прочий хоровой песенный рев. Долго ли он гремел в сердцах? Большинство парней вокруг меня позабыли про все это гораздо раньше, чем мы добрались до Франции. Бойцы в окопах не горели патриотизмом, не пылали ненавистью к кайзеру, не болели душой за маленькую храбрую Бельгию и брюссельских монашек, которых проклятая немчура насилует на столах (почему-то всегда именно «на столах», словно хуже и быть не может). При этом тайных замыслов сбежать у ребят тоже ведь не возникало. Машина полностью и безраздельно владела тобой. Тебя срывало с места и несло куда-то, в самые невообразимые места, и если б даже закинуло на луну, ты бы не слишком удивился. Вот можно ли представить, что после ухода в армию я лишь однажды побывал в Нижнем Бинфилде (приезжал на похороны матери)? Звучит невероятно, но тогда это вышло как-то само собой. В определенной степени из-за Элси, которой я, конечно, месяца через два-три писать перестал. Она наверняка нашла себе еще кого-то, однако очень не хотелось с ней столкнуться. Иначе я, наверно, все-таки добыл бы коротенький отпуск и съездил навестить мать, провожавшую меня в солдаты с сердечным приступом, но, несомненно, испытывшую бы гордость при виде сына в армейском мундире.

Отец умер в 1915-м. Я тогда был во Франции. Признаюсь, мне сегодня от отцовской смерти больнее, чем в те дни. В ту пору я и это принял вестью из череды обычных скверных новостей, почти спокойно, с тупым окопным безразличием. Помню, как выполз на порог блиндажа, чтобы при свете разобрать письмо, помню потеки материнских слез на строчках, ноющую боль в коленях и вонь вокруг. Мать мне писала, что страховой полис отца был заложен за приличную сумму, но на счету денег осталось совсем мало, а «Сарацин» готов выкупить лавку с запасом товара, немного даже приплатив за клиентуру и репутацию. В общем, у нее набирается чуть больше двухсот фунтов, не считая мебели, и сама она пока что поживет в деревне, у кузины, жены счастливо избежавшего призыва мелкого арендатора из Доксли, в нескольких милях от Уолтона. Планы «пока что». Мир стал ощущаться неустойчивым, непостоянным. В старые времена (с конца их едва минул год) подобная ситуация считалась бы кошмарным бедствием. История со смертью отца, продажей магазина и вдовой, оставшейся при паре сотен за душой, увиделась бы длинной душераздирающей трагедией с финальной сценой – похороны нищего. Но война приглушила все людские чувства вплоть до драматичных переживаний потери собственности. Это коснулось даже матери, имевшей о войне понятие весьма смутное. Кроме того, мать (неведомо для нее и тем более для меня) умирала.

Она, однако, добралась до Истборна, чтобы проведать меня в госпитале. Два года я не видел мать, а увидав, испытал некий шок. Совсем она поблекла и как-то усохла. Возможно, мне, повзрослевшему и пошатавшемуся по земле, всякий объект стал видеться в меньшем масштабе, но мать и впрямь ужасно исхудала, сморщилась, вдобавок еще пожелтела. И как всегда, все вперемешку, она начала мне рассказывать про тетю Марту (кузину, у которой проживала), про перемены в Нижнем Бинфилде, откуда всех ребят «позабирала» (то есть призвали воевать), про свои «нелады» с желудком, про плиту на отцовской могиле, про то, каким красивым отец лежал в гробу. Звучал знакомый с детства голос, знакомым образом журчал слегка бессвязный материнский разговор, но будто я слушал призрака. Будто ко мне все это больше не имело прямого отношения. Я знал мать сильной и прекрасной защитницей, одновременно напоминавшей статуи на носках кораблей и зорко стерегущую гнездо наседку, а возле меня примостилась ветхая старушонка в трауре. Все изменилось, все ушло. Мать я тогда видел живой последний раз. Телеграмму о тяжелой ее болезни я получил, учась на офицера в Колчестере, мне тут же предоставили недельный отпуск. Но я опоздал.

Приехал в Доксли, когда мать уже скончалась. То, что она и мы, родные, считали несварением желудка, оказалось опухолью, и внезапная простуда довершила дело. Врач, стараясь меня подбодрить, назвал опухоль матери «доброкачественной», что как-то мало подходило для наименования этой мерзости, убившей ее.

Ну вот, похоронили мы ее рядом с отцом, а я бросил последний взгляд на Нижний Бинфилд. За три года произошли большие перемены. Некоторые магазины закрылись, над некоторыми висели новые вывески. Почти все, кого я знал мальчишками, были на фронте, кое-кто уже погиб. В боях на Сомме убили Сиду Лавгроу, а Имбирь Ватсон, тот бродивший с шайкой «Черная рука» фермерский паренек, который без силков умел ловить на лугу кроликов, был убит где-то в Египте. Один из парней, работавших вместе со мной в бакалее Гриммета, лишился обеих ног. Старик Лавгроу, закрыв свою шорную лавку, жил в домике близ Уолтона на крошечную ренту. Зато старый Гриммет, процветая в военное время, сделался ярким патриотом и, как член местного совета, всяко старался усовестить несознательных. Особенно пустынный и сиротливый вид городу придавало практически полное исчезновение лошадей. Всех сколько-нибудь годных коняг давно реквизировали для нужд армии. Одноконный экипаж при станции еще существовал, но тащившая его животина не падала только благодаря упряжи и оглобле. Час-полтора перед похоронами я побродил по улицам, приветствуя знакомых, красуясь своей формой. По счастью, не пришлось столкнуться с Элси. Перемены в городе я видел и как бы не видел. Меня поглощало другое – в основном удовольствие показаться во втором своем армейском, уже офицерском, обмундировании, с траурной повязкой (очень эффектно выглядит на форменном серо-зеленом рукаве), в новеньких габардиновых штанах. Точно помню, что об этих штанах из габардина в рубчик я продолжал помнить и на кладбище. И когда опустили гроб, начали засыпать яму, когда до меня вдруг дошло, что это моей матери теперь навеки лежать глубоко под землей, когда в глазах у меня защипало, в носу хлюпнуло, даже тогда шикарный брючный габардин до конца из сознания не улетучился.

Не думайте, что я не горевал о матери. Я горевал. Я уже не сидел в окопах, был способен опечалиться человеческой смертью. Но о чем я ни капли не грустил, даже не замечал потери, так это о финише всей прежней, окружавшей меня от рождения жизни. После погребения тетя Марта (в гордости за племянника, «настоящего офицера», желавшая выкинуть кучу денег на погребальный ритуал и едва усмиренная мною) уехала на автобусе в Доксли, а я до станции, откуда мне предстояло ехать в Лондон, затем в

Колчестер, нанял тот самый, почти единственный в городе, экипаж. Прокатил на нем мимо нашего магазина. Никто его не занял, он стоял заколоченный, витринное окно черно от пыли, «С. Боулинг» на вывеске счищено паяльной лампой и густо замазано грунтовкой. Так, а ведь это дом, где я рос малышом, подростком, юношей, где ползал по полу на кухне, вдыхал запахи травяных семян, читал «Донована Бесстрашного», готовил школьные уроки, делал приманку из хлебного теста, латал велосипедные шины, прилаживал к сорочке свой первый высокий воротничок. Это же было вечным, как египетские пирамиды, а теперь вряд ли я когда-нибудь снова ступлю сюда ногой. Отец, мать, Джо, помогавшие в лавке мальчишки, старый наш терьер Удалец и взятый после него Пятнаш, снегирь Джекки, коты наши, мыши на чердаке – все кануло, ничего не осталось, кроме пыли. И ни черта это меня не трогало. Жаль было умершей матери, заодно жаль и беднягу отца, но в мыслях беспрестанно крутилась всякая дурь. Я не без важности, на глазах у всех, катил в кебе (штука мне весьма непривычная), думал о хорошо на мне сидящих новых габардиновых штанах, о своих глянцевах офицерских крагах, столь отличных от грубого солдатского шмотья, о новых своих дружках в Колчестере, об оставленных мне матерью шестидесяти фунтах и о том, как же мы с парнями на них гульнем. И еще я благодарил судьбу, что не попалась навстречу Элси.

Война бог знает что с людьми творила. Еще невероятнее путей, которыми она косила жизни, были пути, которыми она порой оставляла в живых. Словно несется на тебя гигантский морской вал и вот-вот крышка, но вдруг ты откинут в какое-то стоячее болотце, где исполняешь что-то несусветно бессмысленное да еще денежку за это получаешь. Существовали трудовые батальоны, строившие через пустыню дороги невесть куда, существовали отряды дозорных на океанских островках, чтобы высматривать давно потопленные немецкие крейсера, существовали укомплектованные целыми армиями клерков и машинисток департаменты, утратившие былые функции, но продолжавшие функционировать исключительно по инерции. Людей пихали на донельзя нелепые служебные места, после чего начисто о них забывали. Так вот случилось и со мной; в ином раскладе мне, пожалуй бы, не выжить. История вообще довольно любопытная.

Вскоре после моего производства в чин поступил запрос на офицеров для службы снабжения. Старлей офицерской школы, зная, что я соображаю насчет бакалейных дел (свой опыт за прилавком я никогда не скрывал), сразу посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Меня признали подходящим, но только я собрался ехать на курсы снабженцев, как новый

запрос – молодой офицер с опытом бакалейной торговли требовался в секретари сэру Джозефу Чиму, большой шишке Военснаба. Почему выбрали меня, загадка, но выбрали именно меня (я до сих пор думаю – просто с кем-то перепутали). Три дня спустя я появился пред очи сэра Джозефа. Это был сухопарый старикан с эффектной сединой и аристократично внушительным носом. Он произвел на меня впечатление: смотрелся истинным старым воякой, кавалером орденов СМ, СГ и ЗБС^[37], прямо-таки оперный герой с гастрольных афиш Решке^[38], хотя вообще-то был директором одной из крупных бакалейных компаний и пользовался популярностью в мире коммерции как знаменитый Чим – Зажим Зарплаты. Когда я вытянулся на пороге его офиса, он перестал писать и глянул на меня:

– Вы джентльмен?

– Никак нет, сэр.

– Что ж, прекрасно. Есть надежда, что получим работника.

За пару минут он выпытал, что делопроизводства я не знаю, стенографии не знаю и на машинке печатать не умею, что служил младшим продавцом со ставкой двадцать восемь шиллингов в неделю. И тем не менее он меня взял, пояснив, что чересчур много господ в чертовой армии, а ему нужен человек, способный не только считать до десяти. Такой начальник мне понравился, и я нацелился на него поработать, однако тут же вновь вмешались разлучившие нас силы таинственной верховной власти. Формировалось (или явилось намерение сформировать) нечто под названием Оборонительный корпус западного побережья, в связи с чем возник грандиозный замысел оснастить ряд береговых пунктов складами продовольствия и прочих хозяйственных запасов. Ответственность за реализацию этой затеи в далекой от каких-либо фронтов корнуоллской глухомани была возложена на сэра Джозефа. Итак, через сутки службы под его началом меня отправили для инспекции резервных запасов на север Корнуолла, в пункт, обозначенный на военных картах как «Полевой склад двенадцатой мили». Точнее, мне предстояло выяснить, имеются ли там вообще какие-либо склады и запасы, насчет наличия которых многие сомневались. И только я прибываю на место, обнаруживаю, что все резервы состоят из одиннадцати банок говяжьей тушенки, как получаю телеграмму военного управления с приказом принять склад и оставаться при нем до дальнейших распоряжений. Я в ответ телеграфом: «Запасов на данном складе не имеется», – но поздно. На следующий день уже штабной приказ о назначении меня старшим офицером Полевого склада

двенадцатой мили. Собственно, здесь истории конец, поскольку до конца войны я просидел на этой самой двенадцатой миле командиром этого самого склада.

Что сие означало, я так и не понял. Не знаю даже, в самом деле организовывали Оборонительный корпус западного побережья или лишь собирались. Да и стремления тогда не было узнать. В любом случае чистейшая фикция. Думаю, нарисовавшийся в чьих-то мозгах из-за туманных толков о возможном вторжении немцев через Ирландию смутный проект некой береговой цепи армейских складов. Лопнувшая как мыльный пузырь чья-то фантазия, которую пообсуждали денька три и позабыли, и меня вместе с ней. Одиннадцать банок тушенки мне достались от уже обживавшей данный пункт неведомой офицерской миссии. Еще в наследство мне остался (для чего, непонятно) глухой как тетерев старик – рядовой Лиджберд. Поверите ли вы, что я там сторожил одиннадцать банок тушенки с середины 1917-го до начала 1919-го? Поверить невозможно, но так было. И даже не казалось особо удивительным. К 1918-му люди отвыкли ждать от жизни чего-либо разумного.

Раз в месяц мне присылали огромную ведомость, где требовалось указать количество и состояние хранимых мною заступов, саперных лопаток, мотков колючей проволоки, аптечек, одеял, водонепроницаемых подстилок, листов рифленого железа, банок сливового и яблочного джема. Аккуратно проставив в каждой графе нули, я отсылал ведомость обратно. И ничего. В Лондоне кто-то деловито регистрировал мою бумагу, рассылал новую учетную документацию, вновь регистрировал, вновь рассылал... Порядок безупречный. Таинственные власти, руководившие войной, забыли обо мне, а я сановную их память не тревожил. Сидел себе в дремучем уголке и после двух окопных лет во Франции избытком патриотического рвения не страдал.

Это была пустынная часть побережья, где ни души не встретишь, кроме горстки темного местного люда, лишь краем уха слышавшего, что идет война. В четверти мили, за холмом, бурлило море, катя на песчаные просторы высокие тяжелые валы. Девять месяцев в году лил дождь, оставшиеся три – дул шквалистый ветер с Атлантики. Личный и материальный ресурс полевого склада состоял из рядового Лиджберда, меня самого, пары армейских времянок (в одной из них, благопристойно «двухкомнатной», проживал я) и одиннадцати банок тушенки. Из Лиджберда, угрюмого сыча, я насчет его самого смог вытянуть лишь то, что в мирной жизни он был садовником и торговал растениями. И поразительно, как быстро он вернулся к возне с тяпкой. Еще до моего

приезда вскопал за домиком кусок земли и посадил картошку, осенью пахоту свою расширил и в итоге разделал грядок на пол-акра; с начала 1918-го завел кур, и летом у него уже кудахтала целая стая, а к концу года у него невесть откуда взялся откормленный кабанчик. Не думаю, что его сильно занимало, какого дьявола мы там торчим и существует ли на деле Оборонительный корпус западного побережья. Не удивлюсь также, если услышу, что Лиджберд все еще на территории того берегового пункта, растит картофель и откармливает поросят. Хотелось бы надеяться. Желаю удачи старику.

Тем временем я тоже нашел себе дело, которым и мечтать не мог заниматься на службе с утра до вечера, – чтение.

Офицеры-предшественники оставили кой-какие книжки, в основном дешевые издания модного в те годы чтива из-под пера таких авторов, как Йен Хэй, Сэппер, Крейг Кеннеди. Однако был среди тех офицеров некто, кто знал, какие сочинения читать стоит, какие – нет. Сам-то я ни черта еще в этом не смыслил. Если по своей охоте, так читал только детективы и разок одну непристойную книжонку. Я и сейчас не строю из себя большого умника, а спроси вы меня *тогда* относительно «настоящей» литературы, я бы назвал новеллу Кейна «Женой Ты наградил меня» или же (в память о викарии из Общества книголюбов) эссе Рёскина «Сезам и Лилии». Во всяком случае, к литературе «настоящей» меня нисколько не тянуло. Но на пустынный берег рушились бурные волны, за окном хлестал ливень, делать мне было абсолютно, ну абсолютно нечего, а напротив меня, на кем-то приколоченной к стене полке, стояли в ряд книги. Естественно, я начал их читать с края до края, все подряд, интересуюсь выбором не больше хрюшки, трескающей месиво из кухонных объедков.

И вот на этой полке оказалось несколько книг, от прочих отличавшихся. Да нет, вы не подумайте! Нет, не открылась мне внезапно проза Марселя Пруста или Генри Джеймса. Эдакие заумные шедевры я б и читать не стал. Произведения, о которых идет речь, были попроще. Но нас ведь всегда поражает книга, что вровень с нашим на тот момент развитием, настолько вровень, что кажется: написали лично для тебя. Первым из этих книжных потрясений стала «История мистера Полли» Герберта Уэллса, рассыпавшееся на страницы карманное издание в мягкой обложке. Вы можете представить, что такое вырасти сыном мелкого торговца в провинциальном городке и натолкнуться на подобную «Историю»? Затем «Мрачная улица» Комптона Макензи. Вокруг этой вещи перед войной поднялся шум, отголоски скандала долетали аж до Нижнего Бинфилда. Затем «Победа» Конрада. Тут я на некоторых главах поскучал, но такие

романы заставляют мозги работать. Имелся также старый номер какого-то журнала в синей обложке, где был напечатан рассказ Д.Г. Лоуренса. Забыл название. Про немецкого новобранца, который спихнул старшего сержанта через бруствер и дал деру, а потом сцапали парня в спальне у подружки. Объяснить себе, чем это брало, я не умел, но захотелось почитать еще что-нибудь вот такое.

Ладно, начал я пожирать книги, словно действительно изголодался. Впервые так упивался чтением после блаженных дней с бесстрашным Диком Донованом. Причем вначале не знал даже, как подступиться к утолению книжной страсти. Думал, что книгу можно получить, только купив. Забавно, а? Вот где видна разница в воспитании. Думаю, в семьях среднего класса (от пяти сотен годовых и выше) ребенку с колыбели все известно насчет «Мьюди» и «Таймс бук клаба»^[39]. Ну, чуть позже я разобрался, освоил библиотечную систему, стал постоянным абонентом и «Мьюди», и городской библиотеки в Бристоле. И как же я весь следующий год читал! Уэллс, Конрад, Киплинг, Голсуорси, Барри Пейн, Вильям Джекобс, Пэт Ридж, Оливер Ойонс, Комптон Макензи, Генри Сетон-Меримен, Морис Баринг, Стивен Маккенна, Мэй Синклер, Арнольд Беннет, Энтони Хоуп, Элинон Глин, О. Генри, Стивен Ликок, даже Сайлас Хокинг и Джин Страттон Портер. Интересно, сколько имен вам тут известно? Половину из этих авторов, воспринимавшихся большими, серьезными писателями, теперь забыли. Но я глотал все их творения, как кашалот в гуще креветок, и мне ужасно нравилось. Позже, конечно, понабрался кой-чего, стал отличать художество от хлама. С интересом, хотя и не взахлеб, прочел «Сыновей и любовников» Лоуренса и просто обалдел от «Дориана Грея» Уайльда, от «Новых сказок Шехерезады» Стивенсона. Больше всего на меня действовал Уэллс. Понравилась «Эстер Уотерс» Джорджа Мура. А вот романы Харди начинал и всегда застревал на середине. Пытался даже читать Ибсена, от которого осталось лишь смутное впечатление, что в Норвегии вечно дождь.

Странно, ей-богу. И тогда это меня поразило. Малый, всего четыре года назад в белом фартуке резавший сыр клиентам, мечтавший о собственной бакалее и все еще прилагавший немало усилий, дабы говорить правильно, я уже видел разницу между Арнольдом Беннетом и Элинон Грин. Так что, подбивая итог, надо признать, что война принесла мне сколько вреда, столько и пользы. Во всяком случае, по части познаний тот год запойного чтения стал моим единственным университетом. Мозги определенным образом зашевелились. Полезли в голову сомнения, какие-то вопросы, которые вряд ли возникли бы вдруг у меня в нормальном, здоровом

житейском распорядке. Хотя – поймете ли вы это? – самое сильное влияние оказали все-таки не книги, а идиотская нелепость моего тогдашнего существования.

Абсурдным до предела был тот мой, 1918-й, год. Где-то далеко-далеко, во Франции, грохотали орудия и несчастных ребят с мокрой от страха мошонкой, спокойно, будто уголек в печку подкидывая, гнали под пулеметный огонь, а я посиживал у камелька в армейской тыловой хижине да почитывал романы. Мне повезло. Я выпал из поля зрения начальства, забился в уютной щели и получал довольствие за то, что ничего не делал. Время от времени я впадал в панику, ждал, что сейчас обо мне вспомнят и вытащат из норы, но ничего подобного не случилось. Приходила ведомость на шершавой серой бумаге, я ее заполнял и отсылал обратно, через месяц мне опять ведомость, а я опять ее обратно, через месяц снова... так оно и шло. Смысла как в бреднях сумасшедшего, не больше. Результат всего этого (плюс прочитанные книжки) – во мне появилось недоверие.

Не у меня одного. Полно было в войну всяких щелей и стоячих болот. Целые армии гнили на каких-то фронтах, забытых Богом и людьми. Тучи клерков и машинисток военных департаментов отрабатывали свои два фунта в неделю, громоздя горы ненужных бумажек (отлично, между прочим, зная, что ничего, кроме бумажных куч, они не производят). Никто уже не верил басням о германских злодеяниях в маленькой храброй Бельгии; солдаты симпатизировали немецким парням и терпеть не могли французов. Каждый младший офицер полагал Генеральный штаб сборищем дебилов. Волна недоверия побежала по Англии, докатившись даже до Полевого склада двенадцатой мили. Не то чтобы война всех превратила в интеллектуалов, но она повернула народ к нигилизму. Люди, что в мирной, нормальной жизни имели склонность размышлять о своих судьбах не больше чем о пудингах к чаю, сделались прямо-таки коммунаками. Кем бы я стал, не разразись война? Не знаю, но уж не таким, как получилось. Если человек чудом выживал на этой бойне, в мыслях у него обязательно начиналось брожение. Наглядевшись на жуткий, идиотский кавардак, ты переставал воспринимать систему чем-то вечным и безусловным, как египетские пирамиды. Ты уже видел – сплошная хренотень.

Годы войны, конечно, вырвали меня из прежней нашей жизни, но я и

сам о ней надолго и почти полностью забыл.

Знаю я, знаю, что в действительности ничего не забывается, что помнишь апельсиновую корку, плававшую в луже десять лет назад, помнишь увиденный когда-то мельком на вокзале плакат с видом курорта Торки. Я о другом. Ну разумеется, я помнил Нижний Бинфилд, помнил свои удочки, запахи в нашем магазине, мать возле заварочного коричневого чайника, снегиря Джекки, конскую поилку на Рыночной площади. Но все это ушло из живых чувств, стало картинками чего-то очень далекого, с чем навсегда покончено. Мне в голову бы не могло прийти, что вдруг захочется когда-нибудь туда вернуться.

А времечко после войны, скажу вам, было диковатое. Тоже хватало странностей, хотя у большинства они теперь почти изгладились из памяти. Общее настроение недоверия, проявляясь самым разным образом, достигло пика. Миллионы мужчин, согнанных в армию и разом опять выкинутых в мирный быт, нашли страну, за которую они дрались, не той, что ожидалась, и команда Ллойд Джорджа ^[40] из кожи вон лезла, дабы изобразить, что все прекрасно. Бродили, гремя ящиками для сбора монет, оркестры из бывших военнослужащих, отставные солдаты изображали уличных певиц, а парни в офицерских кителях наяривали на шарманках. Все вчерашние воины, включая меня, кинулись искать работу. Положение мое было лучше, чем у многих. С пособием за ранение и тем, что я откладывал последний год из жалованья (не имея особых возможностей тратить), у меня образовалось без малого три с половиной сотни. Но интересно, как же я себя повел. Денег моих вполне хватало, чтобы осуществить то, к чему меня с детства предназначали, о чем я сам мечтал годами, – открыть лавку. Начальный капитал имелся, и если бы побегать, присмотреться, за три с половиной сотни нашлось бы подходящее магазинное дельце. Однако вот, поверите ли, даже мысли об этом не мелькнуло. Я не только ни шагу в ту сторону не сделал, мне вообще насчет такого варианта подумалось лишь годков через пять. Понимаете, внутренне я уже очень отдалился от всяких там прилавков и весов. Армия! Армия слепила из тебя некое подобие джентльмена, внушив уверенность, что уж откуда-нибудь у тебя деньжонки всегда будут. Предложи кто-то мне тогда скромную, но надежную торговую точку – табачную или кондитерскую лавочку или же сельский магазинчик, где продается все на свете, – я бы только расхохотался. У меня ж на погонах звездочки, я в другом социальном ранге. Популярную среди бывших офицеров иллюзию, что всю оставшуюся жизнь ты теперь можешь лишь потягивать джин с тоником, я, правда, не разделял. Я собирался получить работу. Но трудиться предполагал, конечно, «в бизнесе»; неясно пока, где и

на каком посту – на каком-то руководящем, с автомобилем, телефоном и желательной постоянной секретаршей. Аналогичные грезы в конце войны одолевали многих: уличный лоточник видел себя коммивояжером, коммивояжер – директором универмага. Опять-таки влияние армейской жизни, погон со звездочками, офицерской чековой книжки, доставлявшихся тебе обедов-ужинов. К тому же витала идея (и среди офицеров, и у рядовых), что нас, уволенных в запас, ждут места, где нам будут платить уж никак не меньше, чем на наших военных должностях. А если б не эти мечтания, кто воевал бы?

Что ж, грезившуюся работу я не получил. Никто почему-то не рвался платить мне две тысячи в год за пребывание в глянцевого новомодного офиса и диктовку писем платиновой блондинке секретарше. Как и три четверти бывших офицеров, я обнаружил, что в армии мы достигли личных пределов финансового благоденствия и больше это, видно, нам не светит. Из благородных воинов на службе его величества мы мигом превратились в нищих, никому не нужных безработных. Претензии мои вскоре понизились с двух тысяч в год до трех фунтов в неделю, но даже столь незавидных рабочих мест, казалось, не существовало. Любое самое убогое местечко занимал либо тип в годах, уже не годный для воевавшей армии, либо юнец, не дотянувший до призывного возраста. Несчастному отродью, рожденному между 1890 и 1900 годами, везде от ворот поворот. И все-таки мысли вернуться за прилавок не мелькало. Наверное, я мог бы поступить продавцом в какую-нибудь бакалею; старый Гриммет, если был жив (контактов с Нижним Бинфилдом я не поддерживал), дал бы хорошую рекомендацию. Но уже не по мне. И даже без возросших социальных амбиций, после всего, чего я навидался, начитался, мне было не представить себя снова в душной торговой лавке. Я хотел ездить и сшибать монету. Особенно хотелось стать коммивояжером, я чувствовал, что у меня пойдет.

Но и такой работы не было, то есть не было таких штатных мест с регулярной зарплатой. Вот без гарантий, на процент с продаж, – пожалуйста. Бандитство это только начинало разворачиваться. Для фирмы тут изумительно простой способ без риска, без всяких издержек продвинуть свой товар и увеличить сбыт, и система цветет тем лучше, чем хуже времена. Внештатного агента держат на поводке, туманно намекая, что, может, через пару месяцев назначат твердый оклад, а когда измочаленному бедолаге уже невмочь, всегда найдется очередной горемыка, чтобы заменить его. Естественно, работенку «за процент» мне долго искать не пришлось, я даже не одну фирму сменил. Благодарение

Богу, ни разу не досталось навязывать пылесосы или словари. Я ездил со стиральным порошком, столовыми приборами, потом с ассортиментом патентованных штопоров и консервных ножей, потом с офисной дребеденью: скрепки, копирка, лента для пишущих машинок. Неплохо шло. Я тот субъект, который *может* продавать, выколачивая свой процент. У меня есть характер, есть подход. Приличных денег, конечно, не получалось. Их в принципе такой возней не сделать, вот и не делались.

Перебивался я подобным образом примерно год. Всего наелся. Тряска по проселочным дорогам, ночевки черт знает где, поселки, городишки, о которых человек на нормальной службе слыхом бы не слыхивал. Жуткие спальные номера «с завтраком», где простыни всегда пованивают плесенью, а желтки в яичнице бледней лимона. И повсюду встречаешь жалких своих коллег, потрепанных отцов семейств в изъеденных молью пальто и котелках, искренне верящих, что скоро выкрутятся, будут таскать в гнездышко по пять фунтов в неделю. И постоянно шляешься от магазина к магазину, уламываешь хмурых и хамоватых лавочников, шмыгаешь в сторонку, если к торговцу заходит клиент. Только не надо думать, что я чересчур переживал. Для некоторых это попытка: кто-то, прежде чем зайти, открыть свой чемоданчик с образцами, жметесь и морщитесь, будто ему в прорубь нырять. Я не из этих. Я тип настырный, умею уговорить, заставить купить у меня вещь, которую человек покупать не собирался, и даже если перед носом у меня захлопнут дверь, мне наплевать. По правде говоря, работа за процент, если я вижу, как тут наварить, мне нравится. Не знаю, много ли в тот год прибавилось у меня в голове, но выкинул я из нее действительно немало. Вытряхнул весь дурацкий «офицерский» гонор и задвинул подальше все, чего набрался, бездельничая, месяцами глотая роман за романом. В тех своих путешествиях я, кроме детективов, ничего не читал. Не до того было, чтоб умничать. Я погрузился в живую реальность. Какую? А такую – сожми зубы, бейся, дерись, но товар свой толкай. Большинству людей пришлось тем или иным манером продавать себя, что означало: получил работу, так держись за нее. По-моему, после войны в любом деле, в любом торговом, не торговом ремесле дня не было, чтобы рабочих мест хватило на всех желающих. И это наполнило жизнь особым страшноватым ощущением. Будто на тонущем корабле, когда живых душ на борту двадцать, а поясов спасательных пятнадцать. Вы скажете: но что ж тут именно современного? И при чем тут война? Да уж при том. Ты ощущал, что должен постоянно бороться и распахивать локтями, что ты получишь что-то, только если вырвешь у другого, что всегда за спиной охотники на твое место, что не сегодня-завтра сокращение

штатов и могут вычеркнуть тебя, – вот *этого*, клянусь вам, не существовало в той прежней, довоенной жизни.

Сам я, впрочем, не бедствовал. Кой-чего зарабатывал, на банковском счете еще лежало порядочно, почти две сотни фунтов, и будущее меня не пугало. Во мне сидела уверенность, что рано или поздно приличная работа подвернется. И в самом деле, через годик повезло. Точней не «повезло», а это я, барахтаясь, должен был подстеречь, использовать свой шанс. Я не похож на дерзновенного героя, который может кончить и нищим в работном доме, и пэром в палате лордов. Мне, парню среднего пошиба, по закону всемирного тяготения определено болтаться где-то на среднем уровне пяти фунтов в неделю. Пока такие места будут, я как-нибудь на них пристроюсь.

Случай мне выпал, когда я торговал вразнос скрепками и копиркой. Однажды я пролез в огромное, с множеством офисов, здание на Флит-стрит (коммивояжеров туда, естественно, не пускали, но я сумел создать у лифтера впечатление, что мой чемоданчик с образцами – это солидный кейс с бумагами). Разыскивая крохотную фирму зубной пасты, где мне рекомендовали попытать счастья, я в конце коридора приметил какого-то идущего навстречу босса. Издали было ясно – важная персона. Ну, знаете повадку этих крупных бизнесменов: места в пространстве занимает, кажется, втрое больше, чем рядовая тля, шествует как император, и за полмили от него разит деньгами. Когда персона приблизилась, я увидел, что это сэр Джозеф Чим. Теперь уже, конечно, в штатском, но я сразу его узнал. Сэр Джозеф, видимо, прибыл на некое деловое совещание. За ним семенили два то ли клерка, то ли референта; шлейф они не несли, поскольку такового в костюме босса не имелось, но исполняли именно эту обязанность. Я, разумеется, почтительно посторонился. Однако, что интересно, мистер Чим по прошествии нескольких лет тоже меня признал. Более того, к моему изумлению, он, остановившись, заговорил со мной:

– Приветствую! Знакомое лицо. Ваша фамилия? На языке вертится, но никак не вспомню.

– Боулинг, сэр. Служил при Военснабе.

– О, разумеется! Парнишка, мне ответивший, что он «не джентльмен».

А здесь зачем?

Признайся я в торговле скрепками вразнос, беседа, вероятно, и увяла бы. Но на меня вдруг нашло вдохновение, которое порой случается, когда чувствуешь: может клюнуть, если ты аккуратно поднажмешь. И я сказал:

– Да так, сэр. Если честно говорить – ищу работу.

– Работу? Хм. Непросто в наши дни.

Чим скользнул по мне цепким глазом. Два его пажа трепетно застыли в некотором отдалении. Я смотрел на изучавшее меня благообразное лицо с густыми седыми бровями, с чутким массивным носом и понимал, что старик решился мне помочь. Диво дивное это всеилие богатеев. Вельможа в блеске славы и величия проплывал мимо со своей свитой, но по внезапной королевской прихоти решил вдруг одарить нищего монеткой:

– Так хотите работать? Что умеете?

И снова вдохновение. С парнями вроде сэра Джозефа расписывать свои таланты бесполезно. Держись правды.

– Ничего не умею, сэр. Но очень бы хотелось штатным коммерческим агентом.

– Штатным? Хм. Не уверен, что у меня в данный момент есть что-нибудь для вас. Дайте подумать.

Он пожевал губами и чуть не на полминуты погрузился в размышление. Надо же! Обо мне! Мне даже в тот столь важный для карьеры миг это увиделось забавным. Могущественный старикан, стоивший никак не меньше миллиона, задумался о моих интересах. Из-за какой-то моей давней, случайной фразы я застрял в его памяти, и он тратил частицу своего бесценного времени, морщил брови, придумывая мне местечко. Смею предположить, что позже он в тот день для равновесия уволил десяток клерков. Наконец он промолвил:

– В страховой фирме не хотели бы? Надежный, знаете ли, бизнес. Спрос у людей на страховки практически как на ежедневное питание.

Конечно, я ухватился за идею насчет страховой фирмы. Сэр Джозеф был «некоторым образом причастен» к делам «Крылатой саламандры» (к чему только он не был «причастен»!). Один из пажей подлетел с изящной твердой кожаной папкой, и тут же, не сходя с места, сэр Джозеф золотым своим пером начиркал записку важной особе в «Крылатой саламандре». Я поблагодарил его, он величаво поплыл дальше, а я скромно ретировался, и больше мы ни разу не встречались.

Итак, желанную работу я получил, и работа, как я уж говорил, получила меня. Службе моей в «Крылатой саламандре» пошел восемнадцатый год. Начинал я клерком в конторе, но теперь именуюсь «инспектором» или, в особо ответственных случаях, «полномочным представителем фирмы». Два дня в неделю тружусь в офисе своего филиала, остальное время разъезжаю по адресам, проверяю клиентуру, найденную местными агентами, провожу оценку магазинов и прочей собственности, время от времени сам отлавливаю желающих застраховаться и заключаю договора. Собственно говоря, вот и вся

биография.

Оглядываясь назад, я понимаю, что настоящая жизнь, если таковая у меня была, закончилась в мои шестнадцать лет. Все главное, действительно имеющее для меня значение, осталось за той чертой. Потом случалось еще кое-что довольно яркое (война вот, например), но лишь до поступления в «Саламандру». После чего... эх! Говорят, что биографий нет у счастливых людей, но это точно не про парней, потеющих в страховом бизнесе. С начала моей карьеры в «Саламандре» не найдется ничего, что можно было бы назвать событием, за исключением того, что через пару лет, в начале 1923-го, я женился.

Жил я тогда в пансионе в Илинге^[41]. Бежало, верней незаметно ползло, время. Нижний Бинфилд почти не вспоминался. Я стал обычным клерком-работягой, ежедневно торопящимся к 8.15 и плетущим интриги против сослуживцев. Начальство было мной довольно, я тоже был вполне доволен жизнью. Дурман послевоенного стремления к успеху играл и у меня в крови. Вы помните, что тогда звенело в воздухе: жми, парься, молоти, рви свой кусок – короче, пробивайся или выбывай. Давай наверх, там полно места! Упорный смекалистый малый внизу не останется! И все эти тогдашние журнальные байки с картинками: босс одобрительно похлопывает по плечу парня, который славно провернул дельце, ибо прилежно занимался на заочных курсах менеджмента. Смешно, с какой жадностью глотала это рекламное пойло вся молодежь, даже ребята вроде меня, без малейших склонностей к энтузиазму. Я по натуре середняк и не способен жить ни голодранцем, ни лихим рвачом. Но таков был дух времени. Гони вперед! Лупи монету! Увидишь, что соперник падает, кидайся и топчи, чтоб не поднялся. Конечно, это было в начале двадцатых, когда впечатления от войны сгладились, а круто осадивший всех нас кризис еще не разразился.

Я был первостатейным завсегдатаем аптечных кафе-магазинов, ходил на шикарные танцульки, полкроны за вход, и состоял членом местного теннисного клуба. Знаете, верно, эти благородные спортклубы в пригороде? Внутри высокой ограды из проволоочной сетки тесные дощатые павильончики, по площадке гордо похаживают молодые франты в плоховато скроенных белых брюках, совершенно как в высшем свете выкрикивают «второй сет!», «за полным преимуществом!». Я научился

махать ракеткой, не слишком косолапо танцевал, имел успех у девушек. Под тридцать лет, румяный и блондинистый, смотрелся я довольно видным парнем; участие в войне мне тоже прибавляло очков. За джентльмена ни тогда, ни после меня никто не принял бы, но и сына мелкого, почти сельского магазинщика во мне уже вряд ли бы угадали. В лондонском пригороде типа Илинга, в пестром обществе клерков и подобного ранга тружеников среднего класса я ощущал себя вполне-вполне. Хильду свою я встретил в теннисном клубе.

Ей было двадцать четыре. Тихая, маленькая, худенькая, с темными волосами, хорошими манерами и со своими круглыми глазищами – вылитый заяц. В разговорах всегда стоит сбоку, смотрит, но сама почти ни слова, – про таких думаешь: как человек умеет слушать! Если и скажет что, так обычно вдобавок к чужим речам: «О да, мне тоже так кажется». У теннисной сетки она просто порхала – играла, кстати, неслабо, но все равно сохраняла какой-то ребячески беспомощный вид. Фамилия ее была Винсент.

Женившись, рано или поздно спросишь себя, зачем ты это сделал, и, Бог свидетель, миллион раз я задавал себе такой вопрос. За плечами пятнадцать лет супружества, а я все продолжаю допытываться, зачем, *почему* я женился на Хильде Винсент.

Отчасти, конечно, потому, что она была молодой и временами очень миленькой. Помимо этого ясно лишь то, что из-за абсолютно разного происхождения я не видел, не мог уловить ее сущность. Женись я, например, на Элси Уотерс, так знал бы, кого беру в жены, а тут пришлось все открывать насчет супруги уже в процессе совместного житья. Хильда принадлежала к слою, известному мне только понаслышке. Предки ее служили солдатами, моряками, священниками, колониальными чиновниками – все в таком роде. Состояния никто из них не сделал, но и трудиться (в том смысле, как я это понимаю) никто никогда не трудился. У вас возникает подозрение в некоем снобизме, в желании парня из общин Низкой церкви^[42] породниться с семейством классом повыше? Зря. Поймите меня правильно: женился я на Хильде вовсе не потому, что она была из тех, кого я с поклонами обслуживал за прилавком; не потому, что хотелось прыгнуть ступенькой выше на социальной лестнице. Просто-напросто я, бестолочь, совершенно не разбирался в том, что она собой представляла. И не ухватывал, конечно, что барышни из полунищей части верхов среднего класса готовы замуж за кого угодно в брюках, только бы сбежать из дому.

Не прошло много времени, как Хильда пригласила меня

познакомиться с ее родней. До этого я и не знал, что в Илинге целое поселение отставной колониальной братии. В гостях у людей из совершенно незнакомого мира! Я глядел, слушал раскрыв рот.

Бывали вы у британцев, половину жизни проживших в Индии? Зайдешь к ним, и уже не верится, что на дворе Англия и XX век. Переступив порог, ты в Индии 1880-х. Эта особенная атмосфера: резная тиковая мебель, медные чеканные подносы, пыльная башка тигра на стене, индийские сигары, жгучий соус к рису, пожелтевшие фотографии парней в тропических шлемах, то и дело словечки на хинди, словно все вокруг должны понимать, и анекдоты про тигриную охоту, про то, что Смит ответил Джонсу в Пуне в 1887 году. Их собственный, образовавшийся внутри страны довольно тухлый мирок. Но мне, разумеется, все это было удивительно и любопытно. Старый Винсент, отец Хильды, до пенсии служил не только в Индии, а даже на совсем диковинных заморских островах, Борнео или Сараваке (всегда забываю, на котором). Типичный колониальный отставник, полностью облысевший, зато с густейшими усами, набитый до краев рассказами о кобрах, факирах, сахибах и о том, что ему в девяносто третьем сказал окружной комиссар. Мать у Хильды была столь же блеклой, как выцветшие фотографии в гостиной. Имелся еще братец Хильды Гарольд, на момент моего появления у них как раз приехавший в отпуск со своей цейлонской чиновничьей службы. В неказистом, запрятанном на одной из самых глухих улочек Илинга домике Винсентов крепко пахло индийскими сигарами и просто негде было повернуться от охотничьих копий, туземных безделушек и чучел разного зверья.

На пенсию старый Винсент вышел в 1910-м, с тех пор они с супругой существовали не активней и бодрей, чем пара устриц. Однако меня как-то впечатляло семейство, в родословной коего числились майоры, полковники, даже один адмирал. Вообще мое отношение к Винсентам, а их ко мне – наглядный пример того, какими дураками мы становимся, оценивая людей из чужой среды. Поместите меня в круг незнакомых деловых людей, будь то директора компаний или мелкие агенты, я каждого определяю довольно точно. Но относительно сословия чиновников-рантье-священников я был полный профан и с искренним почтением взирал на эти выкинутые как хлам, тихо гниющие обломки; признавал за ними социальное, интеллектуальное старшинство. Они со своей стороны тоже воспринимали меня энергичным молодым бизнесменом, который вскоре будет ворочать большими капиталами. Для подобной публики «бизнес», от страхования судов до торговли арахисом с лотка, – тайна, покрытая

глубоким мраком. Им представляется лишь что-то несколько вульгарное, на чем делают деньги. Старый Винсент любил душевно разглагольствовать о моих трудах «в бизнесе» (раз, помню, характерно выразившись о том, как я «веду дела фирмы», не понимая, по всей видимости, разницы между наемным клерком и владельцем финансового счета). Ему смутно мерещилось, что, будучи в команде «Саламандры», я естественным продвижением в чинах когда-нибудь там дослужусь до генеральства. Еще, по-моему, он лелеял надежду в будущем призанять у меня денег. Гарольд-то уж наверняка, я это по глазам его видел. И я, конечно же, сегодня, даже с нынешним моим доходом, ссужал бы Гарольда монетой, если б тот был жив. Но он, по счастью, через несколько лет умер (кажется, от брюшного тифа); нет уж на свете и обоих его родителей.

Короче, обвенчались мы с Хильдой, и мне буквально сразу стало ясно – влип. Вы спросите: «Зачем на ней женился?» А сами вы зачем? Случаются с нами промашки. Верите ли, первые два-три года я всерьез обдумывал, как бы ее прикончить. Конечно, никто из нас подобных планов не осуществляет, но помечтать приятно. Однако ж парней, укокошивших супружниц, всегда ловят. Какое алиби себе ни сотвори, копы твердо уверены, что это ты, и уж находят чем припереть тебя к стенке. Если убита женщина, первым подозревают ее мужа – вот вам вся правда о том, что народу втайне думается насчет брака.

Но, как говорится, ко всему привыкаешь. Со временем я поостыл в желании убить Хильду, просто смотрел и не переставал дивиться. Чудеса, да и только. Иногда я, придя со службы или после воскресного обеда, заваливаюсь, скинув ботинки, на кровать и часами размышляю об удивительных женских превращениях. Как это у них происходит, почему, для чего? Самая жуть – это быстрота, почти мгновенность, с которой они опускаются после замужества. Словно натянутая струна лопнула, словно бы семена в цветке созрели и лепестки вмиг пожухли. И что меня прямо сшибает с ног, так это то, в какой угрюмой настрой они тогда впадают. Если бы брак был откровенным трюком, если бы женщина, поймав тебя в капкан, сказала: «Попался, болван, теперь не рыпайся, работай на меня, а я повеселюсь!» – ну я хотя бы понял смысл. Но ничего подобного. Не хотят они веселиться, им хочется только мрачнеть и вянуть как можно быстрее. Напрягая все силы, победят, дотащат парня до алтаря – и как бы расслабляются, мигом теряя свежесть, прелесть, жизнерадостность. Так вот и с Хильдой. Жила изящная хорошенькая девушка, которая казалась мне (и вначале, клянусь, действительно *была*) существом более тонким, чем я, а затем – трех лет не прошло – передо мной хмурая, сварливая распустеха.

Не отрицаю, тут отчасти и моя вина, но за кого бы она ни вышла, с ней произошло бы то же самое.

Чего у Хильды нет (я это обнаружил через неделю после свадьбы), так это никакой способности получать удовольствие от чего-то или хоть интерес испытывать к чему-то вне чисто практических соображений. Значение всего созданного лишь для радости, для украшения жизни до нее просто не доходит. Это через характер Хильды мне наконец открылось, что стоит за словами о пришедших в упадок семействах среднего класса. Всю жизненную силу там выкачал постоянный недостаток средств. В подобных семействах, живущих на пенсию и мизерный процент бессрочных государственных облигаций (то есть с доходом, никогда не растущим, а чаще падающим), бедность переживают сильнее, больше трясутся над каждой коркой, каждым пенсом, чем в любом крестьянском домишке, не говоря уж о семьях шахтеров. Хильда рассказывала мне, что почти главное в ее воспоминаниях о детстве – каждодневный ужас родителей перед нехваткой денег на очередную неизбежную трату. Особенно остро проблемы с финансами встают, когда приходится отдавать деток в платные школы. Соответственно отпрыски, особенно девочки, вырастают, до костей проникнутые убеждением не только в обреченности на вечную нужду, но и в обязанности вечно терзаться из-за этого.

Сначала мы жили в убогом двухэтажном скворечнике, с трудом выкручивались на мою зарплату. Позже, когда меня, повысив, сделали инспектором филиала Западного Блэчли, стало легче, но настроение Хильды не изменилось. С утра до ночи ее нытье: счет от молочника! от угольщика! очередной взнос за дом! за следующий школьный семестр! Из года в год жизнь у нас под припев: «Мы завтра окажемся в богадельне!» И ведь Хильда не скряга в обычном смысле слова, и еще менее – эгоистка. Даже когда появляется некий запас наличных, ее едва убедишь купить себе что-нибудь из приличной одежды. Но в ней крепко засело ощущение, что она *должна* мучиться тревогой по поводу расходов. Исключительно этим ее странным чувством долга создается в нашем доме атмосфера гнетущей нищеты. Я другой. У меня, можно сказать, пролетарское отношение к деньгам: живи сегодня, а касательно возможных завтрашних проблем – ну так до завтра еще дожить надо. И больше всего возмущает Хильду мой отказ изводиться вместе с ней. За это она меня бесконечно точит: «Ты, я вижу, *не понимаешь*, Джордж! Мы же *вообще* останемся без денег! Я с тобой говорю *очень серьезно!*» Обожает впадать в панику и говорить со мной «очень серьезно». Причем обязательно сгорбится, сложит руки на груди и причитает. Если записать все ее выступления в течение дня, они

будут под тремя рубриками: «Мы не можем себе этого позволить», «Здесь есть возможность сэкономить», «Не знаю, где найти на это деньги». И все у Хильды, чтоб уж никакого удовольствия. Если она возьмется печь, то думает не про пирог, а только про экономию муки, яиц и масла. Со мной в постели все ее мысли о том, как бы вдруг не зачать ребенка. Если мы отправляемся в кино, ее перед экраном душит негодование на дороговизну билетов. От ее методов вести хозяйство, с вечным стремлением «выгадать» и «обойтись», мою мать хватил бы удар. Но в Хильде, надо признать, ни капли снобизма; ее, кстати, никогда не смущало, что я не джентльмен. Напротив, она неустанно упрекает меня в барских замашках. Мы никогда не поедим в кафе без ее раздраженного шипения, поскольку я чересчур много дал на чай официантке. И вот что любопытно: за последние годы она по своим взглядам и даже внешне стала представлять «низы среднего класса» гораздо определеннее, чем я. Конечно, толку от ее расчетливости ноль. И вообще ерунда одна. Живем мы так же хорошо (или так же ужасно), как все остальные на Элмир-роуд. Но стон из-за газовых счетов, кошмарных цен на масло или детские ботинки, неподъемных сумм за школу продолжается и продолжается. Домашний цирк.

В двадцать девятом мы переехали в Западный Блэчли, на следующий год, незадолго до рождения Билли, внесли вступительный пай и поселились на Элмир-роуд. Сделавшись инспектором, я стал часто бывать в разъездах, получил больше шансов относительно «других женщин». Конечно, я изменял – не постоянно, но так часто, как выпадал благоприятный случай. Хильда, что любопытно, начала страшно ревновать. Зная, сколь мало значат для нее такие вещи, я этих бурных сцен не ожидал. Причем, подобно всем ревнивым женам, она иной раз проявляет просто изумляющее в ней, буквально дьявольское хитроумие. Иногда так ловко подловит, что впору было бы поверить в телепатию, если бы только ее недоверие не вскипало равным образом, когда я грешен и когда совершенно чист. Короче, я у нее всегда под подозрением, хотя, Господь свидетель, последние годы, уже лет пять, наверно, поведение мое почти добродетельно. Не разбежишься при нынешней моей комплекции.

А в общем, наше семейное счастье не хуже, чем у половины супружеских пар на Элмир-роуд. Бывали дни, когда мне думалось уйти или же развестись, но с моим заработком эта роскошь недоступна. И потом, время идет, постепенно сдаешься. Прожив с женщиной пятнадцать лет, трудно представить, как ты будешь без нее, – она уже словно бы часть природы. Положим, у вас накопились некие претензии к луне и солнцу, ну так что? Захочется их отменить, переменить? К тому же дети. Дети, как

говорится, «особая связь» (я бы сказал: туго завязанный на шее галстук, чтобы не произносить – «удавка»).

В последние годы Хильда обзавелась двумя подругами, миссис Уилер и мисс Минз. Миссис Уилер – вдова и, судя по всему, очень обижена на мужской пол. Стоит мне войти в комнату, как ее прямо передергивает. Вид у этой маленькой тусклой дамочки такой, будто всю ее, от волос до туфель, пылью припорошили, но энергии в ней хоть отбавляй. На Хильду она плохо влияет родственной страстью «выгадать» и «сэкономить», хотя в своем особом направлении. Мысли ее постоянно заняты тем, как бы и где бы хорошо провести время, не истратив ни пенса. Она всегда в курсе любых дешевых распродаж, любых бесплатных развлечений. Для подобных ей ни черта не значит, нравится или не нравится вещь на прилавке, главное – по дешевке. Когда универмаги распродают остатки, миссис Уилер непременно первая в очереди и более всего гордится, если, протолкавшись весь день и перерыв горы уцененного барахла, уходит, ничего не купив. Бедняга мисс Минз совсем в другом роде. Это действительно печальный случай. Тощая долговязая дева лет тридцати восьми, с гладко зачесанными черными волосами и славным доверчивым лицом. Живет она на какую-то крохотную, но твердую ренту и представляется мне неким пережитком прошлого, осколком того, прежнего местного общества, когда Западный Блэчли еще являлся не дальним районом столицы, а маленьким провинциальным городком. На ней буквально написано, что папенька был священником и, пока жил, весьма успешно выжимал соки из дочери. Специфический побочный продукт среднего класса эти несчастные создания, что превращаются в костлявых куриц, не умея вовремя сбежать из дому. Увядшая, уже в морщинах, бедная мисс Минз по-прежнему выглядит сущим ребенком. У нее все еще захватывает дух от своего великого бунта – не посещать больше церковь; она вечно бормочет о «современном прогрессе», «женском движении» и мается необходимостью «поднимать уровень сознания», только не знает, как начать. Думаю, поначалу она прилепилась к Хильде и миссис Уилер лишь по причине крошечного одиночества, но нынче они всюду ходят втроем.

А развлечения у них! Иногда я почти завидую. Миссис Уилер – их духовный вождь. Нельзя представить такой идиотской штуки, куда б она их ни втравила. Ходят во всякие кружки, от изучения теософии до плетения узоров из надетой на пальцы веревочки, только бы плата была мизерной. Месяц увлекались диетической ахинеей. Миссис Уилер раздобыла подержанное руководство под названием «Источник лучистой энергии»,

где излагалось, что людям надо питаться лишь листьями салата и прочей травой, пенни за пучок. Хильда, ясное дело, немедленно начала морить себя голодом; пыталась заморить и меня с детьми, но я пресек безобразие. Затем их понесло лечиться самовнушением. Затем они хотели было заняться пелманизмом^[43], но после долгой переписки выяснилось, что бесплатных, как рассчитывала миссис Уилер, брошюр о тренировке памяти им не пришлют. Потом их обуяла страсть готовить некую мерзкую настойку на сене – «пчелиное вино», которое практически ничего не стоит, ибо изготавливается в основном из воды. Это, однако, они быстро бросили, прочтя в газете, что от «пчелиного вина» бывает рак. Потом они почти вступили в один из женских клубов, где водят на экскурсии по разным кустарным производствам, но после долгих вычислений миссис Уилер решила, что чаепития в клубе не окупают членских взносов. Затем миссис Уилер свела знакомство с кем-то, кто давал бесплатные билеты на концерты какого-то общества любителей симфонической музыки. И эти три клуши сидели, часами слушали квартеты и квинтеты, даже не притворяясь, что хоть что-то в этом понимают, не в состоянии даже запомнить, какое произведение им играли, – зато чувствуя, что получают нечто совершенно даром. Однажды ударились в спиритизм. Миссис Уилер где-то наткнулась на медиума, дряхлого оборванца, с голодухи согласного устраивать домашние сеансы за восемнадцать пенсов, то есть дарившего возможность каждой из трех подруг связаться с потусторонним миром всего за шестипенсовик. Я этого медиума видел как-то раз, когда он приходил давать сеанс в нашей гостиной: вконец обносившийся старикашка – по-видимому, дошедший до ручки бывший богослов. Он был так слаб, что, когда надевал пальто перед уходом, пошатнулся: ногу, наверно, свело – при этом из его штанины выпал клубок прозрачной ткани вроде марли. Я успел, пока дамы не заметили, сунуть тряпицу ему в карман. Той марле, как я позже выяснил, предназначалось изображать пелену исторгаемой в трансе «эктоплазмы», и, полагаю, она у нищего спирита еще пошла в ход. Кстати, спешу предупредить: за восемнадцать пенсов духи покойных не являются.

Лучшее, что откопала миссис Уилер, это Левый книжный клуб. Весть о нем донеслась до Западного Блэчли, кажется, в тридцать шестом. Я вскоре оформил там подписку, и это практически единственное, на что мне можно тратить без ворчания Хильды, – в покупке книг за треть их обычной цены она усматривает некий смысл. А вообще смех с этими дамами. Мисс Минз, естественно, тут же приобрела в клубе пару изданий, но первый и последний раз. У всех трех подружек ни малейшего понятия о радикальных общественных идеях клуба, ничего общего с его демократической

политикой, – похоже, миссис Уилер, услышав про Левый клуб, сочла его организацией, где слева добывают печатную продукцию, а потому и продают ее так дешево. Зато подруги хорошо знают, что книгу ценой тридцать шиллингов там купишь за семь с половиной, и дружно приветствуют «столь симпатичное начинание». Посещают лекции и дискуссии, которыми зазывает местное отделение клуба (миссис Уилер, ценитель любых публичных мероприятий, лишь бы под крышей и свободный вход, всегда осведомлена о дате следующей встречи), внимают всем ораторам. Сидят в зале, как три ломтя пудинга. Тема собраний не волнует, но у всех трех, особенно у мисс Минз, отрадное ощущение, что им «повышают уровень сознания», причем абсолютно бесплатно.

Вот такова моя Хильда. Вы поняли какова. Хотя, честно сказать, ничем она не хуже, чем я сам. В начале супружеской жизни временами я готов был задушить ее, но постепенно привык не обращать внимания. А потом раздобрел, отяжелел. Толстяком сделался где-то в начале тридцатых и как-то разом: будто выстрел из пушки – и бах, ядро у тебя в круглом пузе. Известное дело: ляжешь спать вроде еще молодым, для девушек небезразличным, все такое, а наутро проснешься с ясным ощущением, что ты просто несчастный толстый старикан и ничего тебе уже не светит до могилы, кроме того, чтоб париться и покупать детям ботинки.

Теперь у нас тридцать восьмой, и на всех верфях во всех странах клепают новый боевой флот для новой войны, а во мне странное имя с газетных афиш разворошило вдруг груды былого, похороненного, как казалось, бог знает сколько лет назад.

Часть третья

1

Придя тем вечером домой, я еще был в сомнениях насчет того, куда потратить свои заветные семнадцать фунтов.

Хильда сообщила, что собирается на встречу в Левом книжном клубе. Прибыл из Лондона какой-то лектор (кто такой и о чем пойдет речь, Хильда, конечно, ведать не ведала). Я тоже решил сходить. Вообще-то я не охотник до подобных радостей, но чертов бомбардировщик утром над поездом и замелькавшие в голове картинки будущей войны настроили меня, так сказать, глубокомысленно. После обычных пререканий нам удалось загнать детей в постель пораньше, и к восьми мы отправились на мероприятие.

Вечерок выдался сырой, в зале стоял холод и явно не доставало света. Публики в дощатом павильончике с цинковой крышей (молельня какой-то нонконформистской секты, аренда на вечер – десять шиллингов) набралось, как обычно, человек пятнадцать. Желтый плакатик над эстрадой извещал, что обсуждаться будет «Угроза фашизма». Тема меня не слишком удивила. Мистер Уитчет – председатель на этих собраниях, а вообще служащий архитектурного бюро – провел вдоль рядов лектора, представляя его всем как мистера Такого-то (фамилию не помню), «известного антифашиста», что звучало титулом наподобие «известного пианиста». Лектор в темном костюме был щуплым невзрачным человечком лет под сорок, с плешью, довольно неудачно замаскированной поперечными прядками волос.

В назначенный час подобные встречи никогда не начинаются – какое-то время там обязательно волынят, ожидая, что, может, еще кто-нибудь подойдет. Наконец, минут двадцать пять девятого Уитчет, постучав по столу, открыл собрание. Мягкое, младенчески розовое лицо Уитчета всегда цветет улыбкой. Полагаю, он секретарь местного отделения партии лейбористов, умелец по части церемоний и сам культурно просвещает домохозяек из Союза матерей лекциями с волшебным фонарем. Так сказать, прирожденный активист-общественник. О том, как рады мы сегодня видеть очередного лектора, он говорит восторженно и совершенно искренне (мне, глядя на него, каждый раз не отделаться от мысли, что это

девственник). Щуплый докладчик, положив перед собой ворох заметок, в основном газетных вырезок, прижал их стаканом с водой, облизнул губы и пошел трещать.

Вы вообще ходите иногда на всякие там встречи, лекции, диспуты?

У меня, если я там оказываюсь, непременно в какой-то момент мелькает: а на черта все это? Зачем людям поздними зимними вечерами собираться для таких вот штук? Я огляделся со своего места (сажусь я на подобных сходках дальше всех). Хильда с подругами уселись, естественно, впереди. Зальчик был довольно угрюмый, известного сорта: стены из грубо струганных сосновых досок, рифленая железная крыша и сквозняки, не вдохновляющие снять пальто. Кучка народу поближе к освещенной эстраде, далее тридцать пустых рядов – на всех сиденьях вековой слой пыли. За спиной лектора темнело нечто громоздкое в пыльном чехле, весьма напоминавшее гроб под покровом, являвшееся, впрочем, просто фортепиано.

Начало лекции я прослушал вполуха. Невзрачный на вид лектор оратором оказался хоть куда. Лицо бледное, очень подвижный рот и сильный, резкий голос, явно натренированный в речах. Сыпались фразы, громящие Гитлера и нацистов. Не слишком интересно, каждое утро те же тирады читаешь в «Хронике новостей», но бурлившие, kloкотавшие слова накатывали вновь и вновь, цепляя мозг постоянно повторявшимися оборотами: «Зверские злодеяния... Жуткие вспышки садизма... Резиновые дубинки... Концентрационные лагеря... Произвол... Беззаконие... Гонения на евреев... Вспять, во тьму Средневековья... Европейская цивилизация... Решительно действовать, пока не поздно... Гнев всех порядочных людей... Союз демократических народов... Крепкий заслон... Защита демократии... Демократия... Фашизм... Демократия... Фашизм... Демократия...»

Стиль всем знакомый. Эти мастера умеют так молотить часами. Точь-в-точь граммофон – крутани ручку, подвинь рычажок, и загремит: демократия – фашизм – демократия. Но все-таки наблюдать было интересно. Стоит на помосте неказистый плешивый человечек, кидает лозунги. Что, собственно, он делает? Вполне умышленно и откровенно разжигает в вас ненависть. Вовсю старается, чтоб ты дико возненавидел каких-то иностранцев под названием «фашисты». Странное ремесло у парня, думал я, быть «мистером Таким-то, известным антифашистом». Сомнительное дело. Приятель этот, видно, зарабатывает сочинением книжек против Гитлера. А чем он жил до того, как явился Гитлер? И чем займется, когда Гитлер сгинет? Конечно, тот же вопрос можно поставить насчет врачей, сыщиков, крысоловов... Гремевший голос, продолжая

извергаться, навел меня на новую мысль. Да он же *от души*! Нисколько не наигрывает, каждую фразу бросает со страстью и неподдельной яростью. И стремление заразить публику гневом ничто в сравнении со жгучей ненавистью в нем самом. Лозунги эти для него святая истина. Вскрой его, и внутри найдешь сокровенное «демократия – фашизм – демократия». Любопытно, каков он в частной жизни? Или он только ездит с митинга на митинг, призывая к ненависти? У него, может, и мечты из лозунгов.

Пользуясь тем, что сижу позади, я стал разглядывать аудиторию. Однако если вдуматься, так что-то же мы (раз уж я там оказался, стало быть, «мы») все-таки означаем – мы, люди, что чуть ли не ночью сходятся зимой в промозглом зале послушать ораторов Левого книжного клуба. Революционеры Западного Блэчли. Не слишком впечатляющий отряд, думал я, глядя на собравшихся, из которых лишь полдюжины уловили, о чем толкует выступающий, хотя тот уже почти час обличал Гитлера и нацистов. Вечная беда любого митинга: половина толпы уходит, так и не поняв, что за проблема обсуждалась. Сидевший на эстраде, лицом своим напоминавший цветок розовой герани, Уитчет взирал на лектора с восхищенной улыбкой. Заранее было известно, что он произнесет, когда докладчик сядет (слово в слово то же, что после лекции со сбором средств на штаны для туземцев Меланезии): «Выразить глубокую благодарность от лица всех присутствующих... необычайно содержательно... заставляет о многом задуматься... необычайно воодушевляющий вечер!» В первом ряду, напряженно выпрямив спину и по-птичьи слегка склонив голову набок, сидела мисс Минз. Лектор, достав из-под стакана очередную справку, оглашал статистические данные относительно случаев самоубийств в Германии. Вид длинной тощей шеи мисс Минз свидетельствовал, что счастья леди не испытывает. Повышался сейчас уровень ее сознания или же не особенно? Ах если бы только уяснить, к чему все это говорится! Подруги рядом сидели кусками крутого теста. Возле них маленькая рыжая рукодельница вязала джемпер (лицевая петля, две изнаночных, эту вниз, теперь две вместе...). Лектор описывал, как отрубают головы виновным в государственной измене, а на расстрелах иногда не сразу попадают в цель. Еще одна женщина в аудитории, молодая темноволосая учительница районной школы, в отличие от прочих дам, действительно слушала, подавшись вперед, не сводя с лектора округлившихся глаз, чуть приоткрыв рот и буквально впитывая каждое слово.

Сразу за ней сидели двое стариканов, здешние члены лейбористской партии: первый с седым коротким ежиком, второй – совершенно лысый, с вислыми усами. Оба в застегнутых пальто. Понятно, кто такие. В партии с

года ее основания, жизнь отдана рабочему движению, двадцать лет были в черных списках у предпринимателей, потом еще десяток лет донимали Муниципальный совет, требуя заняться трущобами. Затем все кувырком и старые партийцы не у дел. Неожиданно нашли себя, по уши погрузившись во внешнюю политику: Гитлер, Сталин, бомбы, пулеметы, террор, ось Рим – Берлин, Народный фронт, Антикоминтерновский пакт^[44]... – поди-ка разберись во всем этом.

Прямо передо мной поместилась троица местных коммунистов. Все трое очень молодые. Один из них – парень с деньгами, заправляет чем-то в «Саду Гесперид» (не иначе как племянник старого Крама). Еще один – банковский клерк, он иногда мне выдает наличные по чекам. Симпатяга с круглым, мальчишески пылким лицом, голубоглазый и такой белобрысый, будто перекисю волосы обесцветил. Выглядит на семнадцать, хотя уж двадцать-то ему наверняка, одет в дешевый синий костюм с ярко-синим галстуком, очень идущим к его светлым волосам. Сбоку, в том же ряду четвертый коммунист, но он отдельно, из других красных – троцкист, как у них называется. Те трое с ним на ножах. А этот совсем юный и худющий как спичка, нервный, жгуче-черный, взгляд пылающий. Лицо умное. Еврей, разумеется. Четверо коммунистов, не в пример остальной публике, реагировали горячо и явно ждали паузы, чтобы сразу вскочить с вопросами. Юный троцкист, ерзая, весь извелся от волнения, что его могут опередить.

Вслушиваться в звучащие со сцены слова я совсем перестал, но впечатления не убавилось. Напротив: когда я прикрыл глаза, то ощутил любопытную штуку. Показалось, что именно теперь лектор стал для меня ясней, понятней.

Голос шумел и рокотал, будто готов был без устали изливаться еще недели две. Жуткое дело эти живые шарманки, буравящие тебя пропагандой. Прокручивает одно и то же: ненависть, ненависть, ненависть! Сплотимся, друзья, и всеми силами возненавидим! Снова и снова, снова и снова. Ну прямо-таки по мозгам тебе долбит. И на мгновение я, закрыв глаза, буквально спиритический сеанс провел: словно бы очутился вдруг в сознании речистого малого. Сильное, между прочим, ощущение. На несколько секунд я как бы вселился в него – почти, можно сказать, *сделался* им. Во всяком случае, изнутри ощутил его чувства.

Увиделось мне то же, что ему. И картинка была не та, которая фразами рисовалась. Вещал оратор нам, что Гитлер наступает, что надо всем объединиться в праведном гневе и возмущении. Говорилось это, конечно, культурно, в общем плане, без подробностей. А представлялось лектору нечто весьма конкретное – как он чугунным молотком вдребезги расшибает

лица (фашистские лица, разумеется). Я точно это знаю, побывав внутри его. Хрясь! Прямо в переносицу! Податливый хруст размозженных косточек, и вместо лица месиво вроде земляничного повидла. Следующий! Хрясь! Еще! Вот что он видел во сне и наяву, о чем он постоянно думал и с наслаждением грезил. Вот так бы, в кровь их, все отлично – это же морды фашистов. Тон выступавшего не оставлял сомнений насчет его желаний.

Но почему? Сдается мне, от страха. Сегодня каждый человек с мозгами охвачен ожиданием жути. Просто у этого парня достаточно воображения, чтобы сильнее испугаться. Гитлер задумал нас согнуть! Живей, ребята! Хватайте кувалды и дружней! Расколем их голов побольше, тогда, может, они нам черепа не раскроют. Стройся, боевики, подле своих вождей: плохие за Гитлера, хорошие за Сталина. Впрочем, имелся, вероятно, еще какой-то путь, поскольку для нашего лектора Гитлер от Сталина не отличался – обоим им ему хотелось бы морды расквасить.

Война! Я стал опять думать о ней. Скоро уже, ясное дело. А кто боится войны? Страшно боится бомб и пулеметов? Вы скажете мне: «Ты». Да, я боюсь, как всякий, кто такого повидал. Но не столько самой войны, сколько той жизни, что начнется. Мы сразу рухнем в удушливый мир злобы и лозунгов. Форменные темные рубашки, колючая проволока, резиновые дубинки. Пыточные камеры, где день и ночь слепит электрический свет, везде шпики, сутками следящие за тобой. Процессии с гигантскими портретами и миллионные толпы орущих приветствия вождю, вгоняющих себя в ликующую одурь, а в глубине души до рвоты ненавидящих страшного идола. Вот-вот начнется. Или нет? Бывают дни, когда мне кажется – нет, невозможно; бывают дни, когда я понимаю – неизбежно. Тем вечером, по крайней мере, я точно знал – не миновать. Обо всем этом нам трубил невзрачный лектор.

Так что, в конце концов, *имеет*, видимо, значение то, что горстка людей собралась в ночи послушать эту лекцию. Хотя бы полдюжины здесь способны понять, о чем речь. И это просто пограничники огромной армии. Особо зоркие, чуткие крысы, первыми угадавшие, что судно дало течь. Скорей, скорей! Фашисты наступают! Готовь оружие, ребята! Бей в харю, или разобьют твою! От ужаса перед будущим мы сами торопливо лезем в него, как кролики в пасть удава.

А что будет с парнями вроде меня, если вдруг в Англию придет фашизм? По правде говоря, для нас-то особых перемен не предвидится. Вот для этого лектора и для четверки здешних коммунистов действительно большая разница. Либо они будут расквашивать чьи-то лица, либо сами кровью умоются – смотря кто возьмет верх. Ну а середнячкам моего типа

предстоит крутиться обычным, привычным образом. И все же я боюсь – и даже очень боюсь. Чего? Только я собрался поразмышлять над этим, как лектор замолчал и сел.

Раздались гулкие жидковатые аплодисменты малочисленной аудитории, потом старина Уитчет произнес свой благодарственный спич, и не успел он договорить, как разом вскочили все четверо коммунистов. Сцепились они минут на десять, нагородив кучу понятных им одним премудростей типа «диалектика материализма», «историческая роль пролетариата» и «Ленин в 1918 году сказал...». Затем лектор, глотнув водички, подвел итог, который заставил троцкиста просто взвиться, зато понравился трем остальным, и стычка продолжилась уже, так сказать, неофициально. Никому, кроме них, словечка вставить не удалось. Хильда и ее подруги ушли сразу по окончании лекции (боялись, видно, что под конец будет сбор денег на аренду зала). Рыжая рукодельница осталась закончить кусок вязанья: сквозь шум спора слышалось, как она шепотом считала петли. Уитчет сидел и сиял, несколько не вникая в разногласия, а восхищаясь тем, сколь интересна и содержательна полемика. Темноволосая учительница, приоткрыв рот, быстро переводила взгляд с одного говорившего на другого, а закутанный до ушей ветеран-лейборист, словно тюлень с густыми сивыми усами, глядел в хмуром недоумении: какого дьявола они не поделили? В общем, я встал и начал натягивать пальто.

Крутая свара коммунистов превратилась в личную перепалку юного троцкиста с белобрысым парнишкой. Спорили ребята насчет того, надо ли в случае военных действий идти на фронт. И пока я между рядами протискивался к выходу, белобрысый воззвал ко мне:

– Мистер Боулинг! Ну вот хоть вы скажите: если бы грянула война и нам представилась возможность прикончить наконец фашизм, разве вы не пошли бы воевать? Я имею в виду – будь вы моложе?

Парень явно считал, что мне за шестьдесят.

– Смело ставьте на то, что не пошел бы, – ответил я.

– Но разгромить фашизм!

– Да провались этот хренов фашизм! Лично я досыта уже навоевался.

Юный троцкист вклинился было с обвинением ренегатов в социал-патриотизме, измене пролетарским принципам, однако противники вмиг его заткнули.

– Но вам же, мистер Боулинг, вспоминается 1914 год. То была лишь очередная схватка империалистов. Теперь совсем другое. Неужели, когда вы слышите про то, что творится в Германии – концлагеря, уличные побоища, нацисты с дубинками, откровенная гнусная травля евреев, – у вас

кровь в жилах не закипает?

Насчет кипящей крови это обязательно. Помнится, всю войну о ней дудели.

– С 1916 года перестала кровушка у меня кипеть, – сказал я парню. – И у вас перестанет, как надышитесь окопной вонью.

Вдруг я увидел, кто передо мной. Будто впервые разглядел голубоглазого паренька с волосами цвета пакли.

Лицо взволнованное, чистое, как у пригожих старшеклассников, смотрит на меня в упор, и в глазах даже настоящие слезы блеснули! Вот как страдает всей душой из-за гонимых немецких евреев! Понятна, впрочем, реальная почва его переживаний. Здоровый парень (играет, должно быть, за команду местных регбистов), умом он тоже явно не обижен, а живет в пригородном захолустье, служит клерком, сидит за кассовым окошком банка, день-деньской корпит, сличая цифры да считая пачки денег, и должен задницу лизать директору. Невмоготу ему тухлые будни. А в Европе тем временем грандиозные события: рвутся снаряды над траншеями, сквозь мглу порохового дыма смело кидаются в атаку пехотинцы. Возможно, кто-то из его приятелей сражается в Испании. Естественно, он рвется воевать. И как его винить? На миг мне даже показалось, что передо мной мой сын (по возрасту парнишка вполне мог бы им быть). Припомнился тот душный, знойный августовский день, когда мальчишка наклеил напротив бакалеи плакат «АНГЛИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ» и мы, юнцы в белых фартуках, с воплем счастья выскочили на тротуар.

– Слушай, сынок, – сказал я, – зря ты так заводишься. И *мы* в 1914-м верили, что предстоит славное дело. Ошиблись, однако. Только сплошной проклятый кавардак. Ты, если снова полыхнет, держись от этого подальше. Зачем тебе подставлять свое молодое тело под пули? Побереги-ка его лучше для подружки. Ты думаешь, на войне героизм и боевые ордена? Да уверяю тебя, ничего подобного. Нет больше штыковых атак, а если доведется такое испытать, будет совсем не то, что тебе видится. Ты не почувствуешь себя героем. Почувствуешь ты лишь смертельную усталость после трех бессонных суток, почувствуешь, что провонял весь как хорек, что штаны мокрые от страха, а руки так заоченели, что винтовку не удержать. И главное – что уже на все наплевать. Вот так будет.

Эффект, конечно, нулевой. Молодым просто кажется, что ты отстал от жизни. С тем же успехом я мог, постучавшись в дверь, вручить ему душеспасительную книжицу.

Народ стал расходиться. Уитчет повел лектора к себе домой. Троица

коммунистов ушла вместе с евреем-троцкистом, по пути продолжая толковать насчет рабочей солидарности, диалектической диалектики и словах Троцкого в 1917 году. Им бы все только о своем. На улице к холодной сырости добавилась полная темень. Фонари, мерцая дальними звездами, совершенно не освещали мостовую. Со стороны Главной улицы слышался шум стучащих по рельсам поездов. Хотелось выпить, но было уже почти десять, а до ближайшего паба – полмили. Кроме того, хотелось поговорить не так, как болтаешь с кем-нибудь в пабах. Мозги у меня в тот день, ей-богу, свернуло набекрень. Отчасти потому, что не работал, отчасти новенькие зубы настроили на новый лад. С утра тянуло размышлять о будущем и прошлом, теперь жаждалось побеседовать насчет нависшей беды (грянет или, быть может, обойдется?), насчет лозунгов, форменных рубашек, оптимально и гладко наштампованных на востоке Европы солдат, подготовленных придушить нелепую старуху Англию. Из Хильды тут собеседник никакой. Тогда мне стукнуло пойти навестить Портиуса, моего приятеля, который всегда допоздна не спит.

Портиус – отставной учитель частной закрытой школы. Квартира его в старой части города, около церкви, и, по счастью, на нижнем этаже. Он, разумеется, имеет степень бакалавра. Женатым его даже не представить, живет отшельником, почитывая свои книги и дымя своей трубкой, по хозяйству его обслуживает какая-то приходящая тетка. Парень он образованный: знает латынь, греческий, тысячи стихов и все такое. Левый книжный клуб у нас представляет, можно сказать, «прогресс», а Портиус – «культуру». То и это невысоко ценится в нашем Западном Блэчли.

Свет горел в комнатке, где старина Портиус обычно сидит, читает ночи напролет. На мой стук он вышел в прихожую. Такой же, как всегда: в зубах трубка, в руке книга, заложенная пальцем. Худющий и долговязый, с шапкой седых кудрей, со своим суховато-бледным, мечтательным и, несмотря на возраст (ему уже под шестьдесят), почти юношеским лицом, выглядит он слегка чудаковатым. Странно, как эти университетские ребята умудряются до гроба оставаться постаревшими мальчиками. Стиль, надо полагать. Портиус имеет привычку неторопливо расхаживать туда-сюда – такой особенный, красивый, седокудрый и чуть отрешенный, что чувствуется: мыслями он далеко, витает где-то в книжных строчках, и дела нет ему до того, что вокруг. На него только глянь, все ясно насчет пройденного пути: закрытая частная школа, потом Оксфорд, потом в той же своей шикарной школе уже преподавателем. Всю жизнь он в атмосфере древних веков и крикета. Тон благороднейший. Портиус вечно в старом пиджаке из харрис-твида^[45] и старых, мешками обвисших серых

фланелевых брюках, которые он с удовольствием сам признает «позорными»; он курит трубку, презируя сигареты, и хоть ложится чуть не на рассвете, но утром, я уверен, непременно принимает холодную ванну. Думаю, с его точки зрения, мне не хватает воспитания. Я не учился в пансионе, не знаю никакой латыни и даже не стремлюсь к подобным штучкам. Иногда он бросает вскользь, как жаль, мол, что меня «красота не очень трогает» (вежливо намекает на мою неотесанность). И все же он мне страшно нравится. Ему свойственно настоящее, неподдельное дружелюбие, он всегда рад принять тебя, поговорить с тобой в любой час дня и ночи и угостить всегда имеющимся под рукой добрым стаканчиком. Если живешь, как я, в доме, где шагу не ступить, не натолкнувшись на детей или супругу, неплохо порой очутиться в холостяцкой каминно-книжно-табачной берлоге. И этот дух оксфордской классики, когда вроде бы ничего на свете нет важнее книг, стихов и древних скульптур, да и событий важных не случалось со времен готского вторжения в Рим, – от этого как-то еще уютнее.

Усадив меня в дряхлое кожаное кресло у камина, Портиус отошел смешать виски с содовой. Ни разу мне не приходилось видеть его гостиную без стелющихся в воздухе клубов густого табачного дыма; потолок уже почернел от копоти. Сама комната небольшая, стены, за исключением окна и двери, сплошь закрыты книжными стеллажами. На каминной полке все, что положено в подобной обстановке: ряд прокуренных и нечищенных вересковых трубок, несколько античных монет, банка для табака с эмблемой родного колледжа и стародавний глиняный светильник, по словам Портиуса, лично им откопанный в каких-то горах Сицилии. Над камином висят фотографии греческих статуй. В центре, на самом крупном снимке, безголовая женщина с крыльями, которая словно ринулась остановить автобус. Помню, как я потряс старину Портиуса, когда, придя сюда впервые, не нашел ничего лучше, чем спросить: «Почему не подремонтировали изваяние, голову не приделали?»

Портиус принялся вновь набивать трубку душистым табаком из банки на камине.

– Эта несносная особа наверху приобрела себе беспроводной приемник, – пожаловался он. – Я так надеялся прожить остаток жизни без воя этих ящиков. По-видимому, безнадежно. Вы, случайно, не знаете, каковы здесь позиции законодательства?

Я сказал, что тут уж ничего не поделаешь. Мне нравится оксфордская манера со словечками типа «несносная» и мне приятно в 1938 году встретить человека, который против орущего на весь дом радио. Рассеянно

прохаживаясь, руки в карманах, трубка в углу рта, Портиус сразу заговорил насчет какого-то закона против музыкальных инструментов, принятого в Афинах времен Перикла. Всегда у него так. Все его разговоры лишь о том, что было сотни лет назад. С чего ты ни cominci, он твердо вырулит к стихам и статуям, грекам и римлянам. Ты ему новости про «Куин Мэри»^[46] – он тебе тут же про финикийские триремы. Никогда не читает современных книг, даже названий их не хочет знать, не раскрывает ни одной газеты, кроме «Таймс», и с гордостью упоминает, что ни разу не был в кинотеатре. Если б не несколько поэтов типа Вордсворта и Китса, то, по его мнению, современный мир (а это для него последние две тысячи лет) вообще существовал неведь зачем.

Сам-то я целиком из этого современного мира, но слушать Портиуса я люблю. Прохаживаясь вдоль стеллажей, он достает то один, то другой том и, попыхивая трубкой, зачитывает что-нибудь оттуда, по ходу дела переводит тебе с древнегреческого или еще какого-то. И такой покой на душе, сидишь и млеешь. Смахивает, конечно, на школьное учительство, однако успокаивает здорово. Слушаешь, и как будто ты уже не там, где поезда, счета за газ и страховые фирмы, – будто вокруг лишь храмы, оливковые рощи, павлины и слоны, арены и на них бойцы с сетями и трезубцами, крылатые львы, евнухи, галеры, катапульты, знатные всадники в медных доспехах, сверкающих над морем солдатских щитов. Смешно даже, что Портиус сдружился с таким, как я. Но вот вам налицо преимущество толстяка, который всюду сойдет за своего. Кроме того, мы оба любители непристойных анекдотов. Из современного, пожалуй, только это и вызывает некоторый интерес у Портиуса, хотя он обязательно напомним, что сюжет отнюдь не нов. Анекдоты он рассказывает на стародевичий манер: обиняками, с недомолвками. Или переведет, например, пару ядреных строк какого-нибудь римского поэта и предоставит тебе самому домыслить все остальное, или же намекнет на грязные страстишки императоров, на кое-что, творившееся в храмах их богини Астарты. Похоже, большими спецами по части греха были те греки-римляне. У Портиуса есть такие снимки с их стенных картин, что прямо-таки волосы дыбом.

Обычно, когда мне уже совсем худо от службы и семейных дел, я хожу к Портиусу, чтоб отвлечься, отдохнуть. Но сегодня не получалось. Преследовали те же мысли, что весь день, и, как до того с лектором Левого клуба, слов я не слышал, только звучащую речь. Правда, в отличие от стегавших хлыстом призывов левого оратора здесь голос журчал мягко, в ровной профессорской манере. Наконец я не выдержал, прервал на

середине фразы:

– Скажите, Портиус, а что вы думаете насчет Гитлера?

Изящно-сухопарый Портиус, который рассуждал, непринужденно облокотясь на камин, поставив ногу на каминную решетку, от изумления едва трубку изо рта не выронил:

– Гитлер? Эта германская персона? Дружище, я вообще о нем *не* думаю!

– Но его долбаная наглость заставит-таки нас задуматься.

Хотя для Портиуса дело чести хранить невозмутимость, выражения типа «долбаный» ему явно не по нутру. Он принялся расхаживать, глубоко затягиваясь и пуская клубы дыма.

– Не вижу причин уделять какое-либо внимание подобным субъектам. Банальный авантюрист. Извечная история: явится ниоткуда – исчезнет без следа. Эфемерность, абсолютная эфемерность.

Не очень представляя, что такое «эфемерность», я все же стоял на своем:

– По-моему, вы не правы. Стервец Гитлер, как и Джо Сталин, – свеженький продукт. И не похожи они на ваших древних парней, что лишь забавы ради казнили народ на крестах и плахах. Это ребята новой выделки, таковых раньше не бывало.

– Дружище! Нет ничего нового под солнцем.

Ну ясно – любимый припев старины Портиуса. Слышать не желает, что есть что-нибудь новенькое. Что ни скажи, он в ответ: то же самое случилось при том-то императоре. Заговори с ним даже про аэропланы, он тебе скажет, что они, возможно, имелись на острове Крит, или в Микенах, или еще где-то там. Я попытался объяснить, что мне почувствовалось и увиделось на выступлении щуплого лектора, но он и слушать не стал. Повторил, что ничего нового под солнцем. Потом вытащил с полки книгу, прочел отрывок про какого-то греческого тирана, который жил до христианской эры и был буквально брат-близнец Адольфу Гитлеру.

Спор наш быстро увял. А ведь весь день мне так хотелось поговорить с нормальным человеком. Непонятно! Я, конечно, не идиот, но и не крупный умник: в обычные дни интересы у меня, как у всех прочих средних личностей среднего возраста, с двумя детьми и семьей фунтами в неделю, – но даже моего ума хватает, чтобы увидеть: наша старая жизнь подрублена под корень. Я ж чувствую, что происходит. Вижу, что надвигается война, и представляю, что потом: длинные очереди за съестным, тайная слежка, из громкоговорителей долдонят, как тебе правильно все понимать. И я же не один такой, миллионы вокруг меня так

думают. У всех тех, кто толчется в пабах, водит автобусы, развозит, продает товары разных фирм, – у всех есть ощущение, что земля зашаталась под ногами и мир летит в тартарары. А вот передо мной ученый малый, историю изучивший до корки, образованием напичканный через край, и ему даже не видны случившиеся перемены. Гитлер ему не важно. Не хочет верить, что опять нам скоро воевать. В любом случае, так как сам он на фронте не бывал, его это не занимает, ему это вроде любительского театра по сравнению с какой-нибудь осадой Трои. Не понимает, зачем беспокоиться насчет всяких там лозунгов, форменных рубашек и громкоговорителей («стоит ли разумному человеку уделять внимание подобным диким вещам?»). И гитлеров и сталиных со временем сметет, но некие, как он говорит, «вечные истины» останутся. Этим старина Портиус вам просто сообщает, что все всегда будет идти путем, ему доподлинно известным. Навеки суждено возвращенным в Оксфорде парням расхаживать по кабинетам, полным книг, цитировать латынь, покуривать отменный табачок из банок с благородными эмблемами. Нет, бесполезно было спорить с ним. Больше толку было бы от препирательств с молоденьким белобрысым марксистом. Беседа наша постепенно, обычным манером вывернула к допотопной древности. В тот раз – стихи. Вытянув с полки томик Китса, Портиус начал читать «Оду соловью» (а может, жаворонку? никогда я не запомню).

Стихотворение довольно длинное. Однако эта декламация вообще мне не без удовольствия. Читает Портиус, что говорить, отлично. Натренировался, мальчишек в классе образывая. Станет, вольно так опершись на что-нибудь, трубка дымится в углу рта, а громкий голос торжественно льется, взлетая на каждой строке. Вот это его впрямь волнует. Не знаю, чем поэзия берет и чего добивается, но она некоторых возбуждает вроде музыки. Когда Портиус декламирует стихи, я и не вслушиваюсь, о чем речь, просто сижу, убаюканный звучным ритмом. Блаженная, скажу вам, штука. Только тем вечером не шло. Как будто холодком тянуло в комнате. И мне это казалось ерундой. Поэзия! Ну звуки, сотрясение воздуха, а дальше? На кой черт? Чем она поможет против пушек и пулеметов?

Я глядел на стоявшего у стеллажа, уткнувшегося в книгу Портиуса. Забавные ребята эти преподаватели шикарных закрытых школ. Сами навсегда школьники. Всю жизнь по кругу с теми же отрывками из мудрых греков-римлян, с теми же стихами. Вспомнилось вдруг, что чуть не в первый раз, когда я появился здесь, Портиус тоже мне читал вот эту оду. Точно так же читал, и голос его задрожал на тех же самых строчках, где

что-то насчет «створок тайного окна»^[47]. Тут меня странная мысль посетила: да это ведь *мертвец*. Призрак. И все парни вроде него – призраки мертвецов.

И может, многие, бодро шагающие и все прочее, фактически давно покойники. Считается, человек умер, когда сердце остановилось. Принято так считать. Хотя не все в организме перестает работать – волосы, например, растут еще годами. Но, возможно, по-настоящему смерть наступает раньше, когда мозг костенеет, не в силах больше ухватить, переварить что-нибудь новое. Старина Портиус как раз такой: на диво образован, вкус на диво, а к изменениям уже глух и слеп. Ему бы только те же фразы повторять, те же идеи пережевывать. Туда-сюда в пределах наезженной колеи, и колея все тесней, все мертвей.

Мозги у Портиуса искрить перестали, наверно, еще в годы Русско-японской войны. И ужас в том, что почти все порядочные люди – все, кого нисколько не тянет расквашивать чьи-то лица, – похожи на него. Люди хорошие, но шестеренки в их головах застопорило. Не могут защититься от подползающей опасности, поскольку попросту не видят ничего, не замечают даже у себя под носом. Им кажется, Англия вечна и несокрушима и ничего на свете, кроме Англии. Не понимают, что это лишь пережиток, островок в стороне, куда пока только случайно бомбы не падают. Ну а та новая порода восточноевропейских, гладко и оптимально наштампованных ребят, у которых лозунги вместо мыслей и разговоры пулями? Уже нацелились сюда, скоро накинутся. И никаких правил для благородных поединков они не признают. А приличный народ парализован. Похоже, поделился мир на спящих мертвым сном порядочных людей и живых, до ужаса энергичных горилл; промежуточных особей как-то не наблюдается. Через полчаса, потерпев полный крах в попытках убедить старину Портиуса, что Гитлер – это серьезно, я удалился. Шел застывшими в тиши улицами и все о том же размышлял. Шум поездов смолк. В доме было темно, Хильда спала. Я прошел в ванную, опустил челюсть в стакан с водой, надел пижаму, в спальне отодвинул Хильду от края кровати. Не просыпаясь, лишь дернув лопатками, супруга повернулась ко мне спиной. В такие угрюмые думы впадаешь порой по ночам. Лежал я, и судьбы Европы тревожили меня больше взносов за дом, платы за школьный семестр и завтрашней служебной беготни. Виделись темные рубашки, слышалась пальба. Последнее, о чем подумалось, перед тем как сморил сон, – мне-то, парням вроде меня, какого дьявола так волноваться?

Зацвели примулы. Стало быть, март наступил.

Я рулил через Уэстерхем, направляясь в Падли. Предстояло сделать оценку лавки скобяных товаров, а потом, если выйдет, уговорить застраховаться и самого хозяина. Хотя наш тамошний агент его уж почти обработал, но в последний момент нерешительный торговец оробел: сумма полисных взносов напугала. А я специалист по уговорам. Симпатичный толстяк настроение людям улучшает, помогает им подписывать чеки без охов-вздохов. Требуется, конечно, гибкий подход. С кем-то беседуешь и напирался на хорошие скидки, кому-то тонко намекнешь на беды, что могут постигнуть вдову, если незастрахованный клиент скоропостижно покинет сей бренный мир.

Старый автомобиль, как на «американских горках», нырял, взбирался по холмам. А денек – чудо! Бывает в марте, что зима внезапно сдается, отступает. Неделями терзала так называемая «ясная» погода, когда небо сверкает синью, зверский холод и ветер дерет кожу на лице не хуже тупого лезвия. И вдруг безветрие, солнышко начинает пригревать. Ну кто не наслаждался этой благодатью? Свет бледно золотится, покой, былинка не колышется, и сквозь легкий туман видно, как вдалеке по склонам снежными пятнами бродят гурты овец. А в долинах домашние плиты затоплены, и к небу медленно струятся дымки из труб. Я выехал на свое шоссе. Стояла такая теплынь, что можно было ходить без пальто.

У обочины промелькнула целая россыпь первоцветов (видимо, глинистый кусок почвы среди песка). Проехав ярдов двадцать, я притормозил. Грех не вылезти. Хотелось вдохнуть ароматный парок над землей и, может, сорвать несколько тех лесных примул, если никого поблизости. Смутно мелькнула даже мысль набрать пучок для Хильды.

Я выключил мотор и вышел. Коробку скоростей в моей трясущейся от дряхлости машине не переключишь без страха, что сейчас либо дверцы отвалятся, либо еще что-нибудь отлетит. Модель 1927 года, и пробег дай боже. Подняв капот, увидишь нечто вроде прежней Австро-Венгерской империи – все из подвязанных, прикрученных кусочков, однако же мотор пока фырчит. И не представить, чтоб автомобиль вот так вибрировал на все лады. Прямо как земной шар, у которого, я читал, двадцать два вида колебаний. Машина моя, когда ее заводишь, вихляется на манер гавайских красоток при исполнении танца хула-хула.

Возле дороги стенка живой изгороди прерывалась калиткой из

поперечных жердей. Неспешно подойдя, я, чуть согнувшись, положил локти на верхнюю поперечину. Вокруг ни души. Примул в траве под изгородью распустилось полным-полно. Я сдвинул котелок, подставив лоб душистой свежести. Прямо за калиткой кто-то, видно бродяга, совсем недавно разводил костер – струйка дыма еще курилась над догоревшим хворостом. На поле проклюнулась озимая пшеница. Вдали виднелся затянутый ряской пруд, над водой белел меловой откос, за ним стояла буковая рощица. Кроны деревьев туманились прозрачными облачками едва наметившихся листьев. И фантастическая тишь. Даже невесомые хлопья пепла лежали неподвижно. Где-то заливался жаворонок, а больше никаких звуков, никаких тебе самолетов.

Я постоял, облокотившись на калитку. Один, в полнейшем одиночестве, глядел на поле, и поле глядело на меня. Я там почувствовал... Ну как бы это описать понятней...

Ощущение, столь странное для наших дней, что прозвучит, конечно, по-дурачки. Я вдруг почувствовал себя *счастливым*. Я в тот момент свое существование – ну и пускай не вечно жить! – охотно, всеми фибрами принимал. Вы можете сказать, что просто-напросто повеяло весной и половые железы взыграли, все такое. Но ощущалось много сверх того. И между прочим, больше распустившихся примул и лопнувших на ветках почек меня тогда в том, что жить стоит, убедили остатки дотлевавшего костра. Известно, как притягивает это зрелище. Подернутые белым пеплом головни еще удерживают форму сучьев, а под золой мерцают подвижные огоньки. Алые горящие угольки, от которых лучится такое чувство жизни, какое больше нигде не найти. Какая-то оттуда идет сила, что-то такое, чему слов не подберу, но оно говорит тебе – и ты живой, живи. Как та деталь в картине, что толкает разглядывать все остальное.

Я наклонился сорвать примулу. Не тут-то было, с моим животом. Кое-как все-таки присел на корточки, нарвал пучок. Повезло, что никто меня не видел. Листочки были круглые, волнистые, на ощупь вроде кроличьих ушей. Поднявшись, я положил букетик на перекладину калитки, потом вдруг как-то импульсивно вынул свой зубной протез и глянул на него.

Будь рядом зеркало, оно бы показало меня во всей красе, хотя и без того я прекрасно представлял, как выгляжу. Туша на середине пятого десятка, в темно-сером, уже слегка потрепанном костюме и котелке (жена, двое детей, дом в пригороде читаются безошибочно). И красная физиономия с голубовато-водянистыми глазами. Мне ли себя не знать? Но что я ощутил, сунув протез обратно в рот, – *не важно!* Не важно даже, что искусственные зубы. Ну толстый. Ну похож на букмекера-неудачника. Ну с

женщиной теперь даром не переспать. Да знаю я. Но это все равно. И не хочу я сейчас женщин, не хочу даже вернуть молодость. Одно желание – быть живым. И я действительно им был, когда стоял, смотрел на примулы, на алые угольки под золой. Весь в этом чувстве – на душе покой, а в то же время что-то разгорается внутри.

Пруд вдали был так ровно затянут изумрудной ряской, что казалось: пройдешь как по ковру. И почему, думалось мне, мы все такие дикие кретины? Почему вместо всякого идиотизма не побродить, попросту *всматриваясь*? Вот хотя бы этот пруд: в нем столько живности – тритоны, улитки, пиявки, жуки водяные и еще масса крохотных существ, которых увидишь лишь с микроскопом. Там, под водой, секреты их житья. Можно всю жизнь, сто лет, удивленно разглядывать, и не узнаешь до конца даже один маленький пруд. Отдаться целиком этому изумлению, огоньку внутри себя – что нужней, что дороже? Однако же не надо нам.

А мне вот надо было. По крайней мере в то утро, подле той изгороди. Только поймите меня правильно. Во-первых, не в пример большинству лондонцев, я не слезливый обожатель «сельских прелестей». Я среди этих чертовых прелестей вырос. И я не против городской жизни – пускай люди живут где нравится; не призываю я народ все бросить и лишь бродить, природой любоваться. Понятно мне, что без трудов никак. Но парни в шахтах выхаркивают легкие, а девушки не разгибаясь стучат на пишущих машинках, и времени на первоцветы нет. К тому же, если ты без своего угла и не наелся досыта, не до цветочков. И даже не это главное. То самое чувство – оно, признаться, изредка меня вот эдак забирает, но таится внутри всегда. Хорошее чувство, ей-богу. И ведь оно у всех из нас, почти у всех. Не часто ощущается, но есть и каждому известно. Кончайте же палить из пушек! Хватит затравленным травить других! Уймитесь, дышите ровнее, впустите в жилы себе хоть малость покоя! Нет, бесполезно. Упорно творим все тот же проклятый идиотизм.

На горизонте новая война, ждут – в 1941-м. Три оборота Земли вокруг Солнца, и рухнем, бухнемся туда. С неба бомбы как черные толстые сигары, и залпы гладких, обтекаемых пуль из гладких, точных пулеметных стволов. И не пули больше всего меня волнуют. На фронт я уже не гожусь. Воздушные налеты – это да, но ведь не каждому смерть от бомбежки. Кроме того, подобные опасности, даже если они весьма реальны, заранее в голову не берешь. Нет, я уж говорил и повторяю: не сама война мне страшна, а то, в чем жить придется. Хотя за меня лично вряд ли, пожалуй, возьмутся. Кому тут интерес? Я слишком толстый, чтобы заподозрить во мне идейного врага, охаживать меня резиновой дубинкой или вообще

прикончить. Я мелкий обыватель, неприметный середняк из тех, кто послушно проходит, когда полисмен велит не задерживаться. Что же до Хильды и детей, так им, наверно, перемены и вовсе будут незаметны. Но меня все-таки преследует этот кошмар. Концлагеря! Лозунги! Громадные рожи на плакатах! Глухие, обитые войлоком подвалы, где истязают людей палачи! Бояться бы тут надо другим личностям, много умнее и храбрее меня. Но я-то почему боюсь? А потому что, как война начнется, прости-прощай то, о чем я пытался сейчас рассказать, – особенное чувство внутри себя. Ну, называйте это «миром», ладно. Но для меня это не просто «без войны», а мир, который глубоко в тебе. Следа от него не останется, если придут владеть нами парни с дубинками.

Взяв свой пучок примул, я поднес его к носу и глубоко вдохнул. Вспомнился Нижний Бинфилд. Смешно, честное слово, как родной городок, практически забытый лет на двадцать, последние месяца два стал беспрерывно вспоминаться. И тут послышалось рычание автомобиля.

Меня будто встряхнуло. Вдруг дошло, чем я занят здесь: гуляю и цветочки рву, – когда давно уж должен был оценивать ресурсы скобяной лавки в Падли. И прямо сердце екнуло: а ну как те, в автомобиле, увидели меня – жирного типа в котелке, с пучочком первоцветов? Нелепая картина. Не положено толстякам собирать лесные примулы – во всяком случае, на глазах у людей. Я быстро выкинул букетик за калитку. Хорошо, что успел. Показавшаяся машина была набита юнцами не старше двадцати. То-то бы они похихикали, завидев меня секундой раньше! Молодые болваны через стекло пялилась на меня (ну, знаете, как на вас глазают из проезжающих авто). Испугало, что даже сейчас они способны догадаться, чем я занимался, надо было их срочно разубедить. А зачем мужику вылезать из машины, отходить к обочине? Ясно зачем. И пока мимо шуршал автомобиль, я притворялся, что застегиваю пуговицы на ширинке.

Повертев рукоятку и запустив мотор (стартер у меня давно не работает), я двинул дальше. И вот ведь интересно: именно в ту минуту, когда я как бы возился с ширинкой, когда все мысли, казалось, были заняты катившей мимо компанией юных болванов, меня осенила потрясающая идея: «А съезжу-ка я в Нижний Бинфилд!»

«А почему нет?» – думал я, давя на газ. Почему не поехать? Что мешает? Какого дьявола мне это раньше в голову не приходило? Туда, туда – отдохнуть в тишине Нижнего Бинфилда.

Вы не подумайте, что у меня мелькнуло уехать в Нижний Бинфилд навсегда. Я не намеревался бросить Хильду и детей и начать жизнь под новым именем. Такое случается лишь в романах. Но почему бы на неделю

втихаря не улизнуть, недельку не пожить там одному, на вольной воле?

Все складывалось как по плану. Даже денежки имелись (оставалось еще двенадцать фунтов от секретных запасов, а на двенадцать фунтов неделю вполне прилично отдохнешь). У меня две недели отпуска в году, обычно я беру их в августе или сентябре. Но если сплести подходящую историю – например, смертельно больной, умирающий родственник, – можно уговорить начальство предоставить мне часть отпуска вне очереди. Втайне от Хильды получить свободные деньки. И целую неделю в Нижнем Бинфилде – ни Хильды, ни детей, ни Элмир-роуд, ни «Крылатой саламандры», ни трепки нервов из-за выплат по кредиту, ни потока машин, дикого уличного шума, от которого уже дуреешь, – неделю лишь ходить, бродить и слушать тишину. Неплохо, а?

Вы спросите, зачем понадобилось ехать? Почему именно в Нижний Бинфилд? Что я там собирался делать?

Вот в этом суть: не собирался я там делать ничего. Просто хотелось мира и покоя. Мир и покой! Когда-то в Нижнем Бинфилде они были у нас. Я ведь кое-что рассказал о нашей прежней, довоенной жизни. Не утверждаю, что она являлась идеальной. Шла она, развивалась, следует признать, довольно вяло и уныло, неким растительным образом. Так что вы вправе уподобить ту нашу жизнь существованию репы или брюквы. Но брюквы эти не дрожали перед боссом, не приходилось им ночами лежать с открытыми глазами, мучиться мыслями о скором новом кризисе, новой войне. В душах наших был мир. Конечно, я понимал, что даже Нижний Бинфилд не избежал каких-то перемен. Но сам-то городок на месте. И так же тянется буковый лес за Бинфилд-хаусом, бегут тропинки к Барфордской плотине, стоит на рынке конская поилка. Хотелось всего на неделю вернуться туда, напиться тамошним покоем. Что-то вроде стремления восточных мудрецов удаляться в пустыни. Судя по тому, как все идет, в ближайшие годы у многих возникнет подобное желание. Будет как в Древнем Риме, где, говорил мне старина Портиус, одно время развелось столько отшельников, что на пещеры записывались в очередь.

Но я не пуп свой рвался созерцать. Хотелось лишь привести нервы в порядок до наступления скверных времен. А разве кто-нибудь, у кого голова на плечах, сомневается, что грядут скверные времена? Не знаем еще, какая напасть вдруг грянет, но точно знаем – грянет обязательно. Может, война, а может, кризис в экономике – в любом случае что-то гнусное. Куда бы мы ни шли, мы явно катимся вниз. В могильную или выгребную яму. И тут не устоишь, если внутри сумбур. Что-то из нас исчезло за двадцать послевоенных лет.словно жизненный сок постепенно

до капли вытек, улетучился. Вечная суета и беготня! Вечная битва за горсть наличных. Вечный грохот автобусов, бомб, радиоприемников, телефонных звонков. Нервы в клочья изодраны, вместо костного мозга пустота в костях.

Я нажал на акселератор. От одной мысли вновь поехать в Нижний Бинфилд стало хорошо. Так, знаете, воодушевило – глотнуть воздуха! Вроде гигантских морских черепах, которые всплывают и, высунув нос, заполняют кислородом легкие, прежде чем снова погрузиться в гущу водорослей и осьминогов. Все задыхаемся на дне помойки, но я нашел путь выбраться на воздух. Нижний Бинфилд! Я давил на газ, заставив старушку машину разогнаться до ее максимальных сорока миль в час. Тарахтела она как жестяной поднос с горой посуды, а я под это гроыхание едва не запел.

Была, конечно, ложка дегтя в бочке меда – Хильда. Это слегка охладило. Я сбавил скорость, чтобы обдумать проблему.

Хильда, сомнений нет, рано или поздно дознается. Насчет укороченного вдвое августовского отпуска я извернусь. Скажу, что в этом году фирма больше недели не позволила. Сразу сообразив насчет значительного сокращения отпускных расходов, Хильда, надеюсь, особенно пытаться вопросами не станет. Дети-то при любом раскладе всегда месяц на курорте. Труднее с моим алиби на недельку в мае. Смыться без объяснений не получится. Лучше всего, пожалуй, заранее рассказать, что намечается командировка в Ноттингем, или Дербь, или Бристоль – в общем, куда-нибудь подальше. Если предупредить за пару месяцев, так будет вроде бы, что мне скрывать тут нечего.

Ну разумеется, в итоге жена все равно узнает. Хильда есть Хильда! Сделает поначалу вид, что верит, а затем тихо-тихо, настойчиво, упрямо докопается, что не бывал ты ни в каком Дербь или Бристолье. Чудеса, как ей это удастся. Вот ведь упорство! Затаится, пока не выяснит все бреши в твоей истории, и, подловив вдруг на какой-то небрежной детали, бросится в нападение. Внезапный допрос с предъявлением улики: «Где ты был вечером в субботу? Не лги! Ты был у женщины. Смотри! Я чистила твою жилетку и нашла на ней волос. Видишь? Что, у меня *такого* цвета волосы?» И пошло-поехало. Бог знает сколько раз все это повторялось. Иногда подозрения Хильды насчет женщин справедливы, иногда нет, но последствия всегда одинаковы. Неделями цепляние и ворчание, неделями за стол не сядешь без скандала, и дети растерянные, уразуметь не могут, что вообще происходит. А попытаться сказать Хильде правду: куда, зачем я еду на неделю, – вещь абсолютно безнадежная. Хоть до судебного дня ей объясняй, ни за что не поверит.

И к черту! Провались оно, сказал я себе. Чего волноваться раньше

времени? Еще дожить надо. Как видится вперед и как потом выходит – большая, знаете ли, разница. Я снова надавил на газ. У меня сверкнула идея лучше первой. Не поеду я в мае. Поеду в последней декаде июня, когда откроется рыболовный сезон: поеду и буду удить рыбу!

Почему нет, в конце концов? Хочется мира, а рыбу удить – самое мирное занятие. И тут же меня осенила столь грандиозная идея, что я, крутанув руль, чуть в кювет не съехал.

Я вытяну тех огромных сазанов в лесном озерке Бинфилд-хауса!

Ну почему, почему нет? Не странно ли мы существуем, навек приняв, что все, о чем мечталось, абсолютно несбыточно? Ну почему бы и не выудить мне тех сазанов? Однако, лишь возникла эта мысль, разве не родилась она желанием чего-то невозможного, нереального? Ведь сразу так почувствовалось – как видение, дурманная галлюцинация наподобие грез о пламенных романах с кинозвездами или своей победы на боксерском матче тяжеловесов. И все-таки возможно, все же вполне вероятно. Пусть озерко вместе со всей усадьбой арендовано, но кто бы ни был нынешним владельцем Бинфилд-хауса, неужели он мне не разрешит поудить на его земле за хорошую плату? Да черт возьми! Я буду рад отдать пять фунтов за денек с удочкой на том заветном бережку! А скорее всего, и усадебный дом по-прежнему пуст, и про то озерко никому не известно.

Представился ждавший меня все эти годы укромный водоем в лесной чаще. И скользкие в нем громадные темные рыбыны. Боже! Если они такими были тридцать лет назад, то до каких же габаритов разрослись теперь?

Семнадцатого июня это произошло, в пятницу, во второй день рыболовного сезона.

На службе я договорился легко, для Хильды сплел легенду – комар носу не подточит. Пунктом командировки я придумал Бирмингем, в последний момент даже назвал гостиницу, где буду проживать: «Роуботем-отель». Несколько лет назад мне довелось ночевать в этих «номерах для семейных пар и бизнесменов», и адрес застрял в памяти. Существовал, правда, риск, что, поскольку я там пробуду целую неделю, Хильда вздумает мне написать. Поразмыслив, я частично доверился Сондерсу, молодому коммивояжеру компании «Лоск – идеальная мастика», случайно упомянувшему, что восемнадцатого он будет проездом в Бирмингеме, и

взял с него слово отправить оттуда, из упомянутой гостиницы мое письмо супруге. В заготовленном послании сообщалось, что мне, видимо, придется ехать дальше, а потому вряд ли стоит писать на этот адрес. Сондерс все понял (насколько мог понять) и, подмигнув, восхитился замечательной для моего возраста прытью. Итак, насчет Хильды было улажено. Выспрашивать она не стала, а даже если бы потом и начала что-то подозревать, такое алиби поди-ка опровергни.

Поехал я через Уэстерхем. День выдался чудесный. Июньский ветерок чуть шевелил пронизанные солнцем верхушки тополей. В небе белыми барашками бежали облачка, их тени вереницей скользили по полю. Меня нагнал развозивший на велосипеде мороженое фирмы «Уолл», оглушительно свистевший паренек со щеками, как пара румяных яблок. Припомнив себя когда-то таким же рассыльным, я едва не остановил его, чтобы купить порцию. Луга уже выкосили, но стога еще не сложили, и скошенная трава лежала, сохла длинными сверкавшими рядами. Запах бензина смешивался с ароматом свежего сена.

Ехал я на малой скорости (пятнадцать в час). Вокруг утренний, прямо сказочный покой. Медленно кружившие на прудах утки словно плавали в свое удовольствие, не нуждаясь в добывании пищи. В Нетлфилде, деревушке близ Уэстерхема, кинувшись через луг, на дорогу выбежал, замахал рукой седоусый коротышка в белом фартуке. Машину мою в этих местах все знают. Я остановился. Оказалось – у мистера Вивера, владельца сельского магазинчика, ко мне просьба. Нет, он не воспылал желанием застраховать товар или же самого себя. Просто кончилась сдача, так что не смог бы я разменять ему фунт «серебром»? Никто в деревне разменять не может, даже в пабе.

Я снова тронулся. Пшеница поднялась уже по пояс и, покрыв холмы зеленым ковром, колыхалась, переливалась шелковыми волнами. Прямо как женщина, подумалось мне: так и манит, чтобы ты на нее прилег. Вдали показалась развилка с дорожным указателем: направо – к Падли, налево – к Оксфорду.

Я все еще болтался в пределах «моего участка», как его называют в фирме. Направляясь на запад, следовало свернуть налево, по Аксбриджской дороге, но инстинкт побуждал не менять обычный маршрут. План планом, а все-таки грызло чувство вины. До поворота требовалось прийти в равновесие. И, несмотря на то что я так четко все уладил и с Хильдой, и со службой, несмотря на двенадцать фунтов в бумажнике и пристроенные сзади чемоданы, чем ближе к развилке, тем сильнее одолевало искушение. В общем, я понимал, что не поддамся, но оно было – это искушение

бросить задуманное. Томило ощущение, что, пока я еду привычным путем, закон не нарушен. Еще не поздно, думал я, еще есть время остаться в легальной колее. Свернуть на Падли, повидаться там, к примеру, с менеджером банка «Бэрклиз» (это наш тамошний агент), выяснить, не наметились ли новые клиенты. Да и вообще можно вернуться, поговорить с Хильдой, сознаться в коварном замысле...

Перед развилкой я сбавил скорость. Ну? Ехать – не ехать? На миг одолела слабость. Но нет! Дав гудок, я свернул на запад, на шоссе к Оксфорду.

Ладно, сделано. Я уже на запретной территории. Правда, миль через пять вновь поворот, возможность снова выехать к Уэстерхему, но я гнал на запад. Буквально на крыльях летел. И вот что интересно: едва свернув у развилки, я совершенно отчетливо ощутил – *они* знают. *Они* – все те (а это чуть не каждый), кто очень не одобрил бы мою поездку и ни за что, имей такую власть, не дал бы мне уехать.

Более того, показалось, что они гонятся за мной. Все, кому непонятно, зачем немолодому типу со вставной челюстью понадобилось улизнуть, чтоб тихо-мирно провести неделю в местах своего детства. И вся подлая сволочь, которая отлично понимает *зачем*, а потому именно небо и землю перевернет, только бы не пустить тебя. Все кинулись по следу неисчислимым полчищем. Впереди, разумеется, Хильда, волочащая за собой детей; рядом рвется вперед исполненная гнева и мщения миссис Уилер; в тылу у них поспешает мисс Минз: пенсне слетело с носа, вид несчастной курицы, чья участь вечно топтаться позади, когда другие бойко расклеивают брошенные корки. Здесь же сэр Герберт Крам и боссы «Крылатой саламандры» на своих шикарных «роллс-ройсах», «испано-суизах». И вся мелкая братия нашей конторы, и вся покорная скотина с Элзмир-роуд или других подобных загонов – пыхтят, катят перед собой кто детские коляски, кто садовые катки, а некоторые тарахтят на собственных малолитражных «остин-семерках». И все назойливые, неотвязные душеспасатели, которых ты сроду не видел, но кто правит твоей судьбой из Министерства иностранных дел, из Скотленд-Ярда, Лиги трезвости, Английского банка, парламента, а также сам лорд Бивербрук^[48] и в тандеме крутящие велосипедные педали Гитлер со Сталиным, и Муссолини, и папа римский – все бросились преследовать меня. Мне прямо слышались их крики: «Вон он, наглец, надумавший сбежать! Тип, не желающий гладкой штамповки поточным методом! Он убегает в Нижний Бинфилд! За ним! Хватай его!»

Диковатое ощущение. Погоня виделась так живо, что я даже глянул в

заднее оконце автомобиля. Но это, видно, совесть мучила беглеца. Никто за мной не гнался. Позади лишь белело пыльное шоссе да зеленели убегающие, тающие вдали ряды вязов.

Я увеличил скорость до тридцати миль. Минут через пять промелькнул поворот на Уэстерхем. Итак, решился. Корабли сожжены. Идея, забрезжившая в день, когда я получил новехонький зубной протез, осуществилась.

Часть четвертая

1

К Нижнему Бинфилду я подъехал со стороны Чэмфордского холма. В городок вели четыре дороги, самый прямой путь был через Уолтон, но мне захотелось вернуться так, как мы обычно возвращались с рыбалки на Темзе: переваливаешь вершину холма, деревья расступаются, и видишь внизу, в долине, Нижний Бинфилд.

Странное чувство возникает, когда вновь появляешься в краях, где не бывал двадцать лет. Вроде бы все отлично помнишь, и все оказывается не так. И расстояния другие, и разные приметные детали словно бы передвинулись. Склон ведь уж точно был гораздо круче? А этот поворот ведь точно был не здесь? К тому же что-то помнишь очень ясно, но в некий конкретный момент. Запомнилось, например, поле, каким оно увиделось однажды в дождливый холодный день, когда трава на выгоне отливала синевой и у подгнившей замшелой ограды стояла, пляясь на тебя, корова. Спустя двадцать лет возвращаешься и страшно удивлен, не обнаружив на прежнем месте той коровы с тем же ее взглядом.

На Чэмфордском холме я убедился, что картина в моей памяти создана более всего воображением. Хотя кое-что действительно изменилось. Щебеночная дорога (помнились ее ухабы под велосипедным колесом) превратилась в залитое гудроном шоссе и стала заметно шире. А вот деревьев явно поубавилось. Раньше над рядами кустов по сторонам дороги вздымались раскидистые буки, ветви их нередко сплетались высокими зелеными арками. Буки исчезли. Зато ближе к вершине холма появилось нечто определенно новенькое. Справа от шоссе красовалось скопище новомодных, «живописных» коттеджей с широченными карнизами, розовыми беседками и прочей декоративной дребеденью. Известного сорта хоромы, слишком великосветского пошиба, чтобы вульгарно стоять в ряд, а потому натыканные густой россыпью, с отдельными подъездными дорожками к каждому дому. Возле одного из них надпись на белом щите гласила:

ПИТОМНИК
СИЛИХЕМ-ТЕРЬЕРЫ

*Элитные щенки
Пансион для собак*

Но это-то разве могло быть здесь? А что же было? Я напряг память. Ага, вспомнил! Вместо данного поселения тут была дубовая роща. Деревья росли так густо, что оставались тонкими дубками, и весной вся земля под ними цвела сплошным ковром анемонов. И уж, конечно, никаких домов так далеко от города не строили.

Я въехал на вершину холма. Ну вот, еще минута – и внизу предстанет Нижний Бинфилд. Нижний Бинфилд! Стоит ли притворяться, что я был спокоен? От одного предчувствия внутри что-то ухнуло и взмыло, сердце дрогнуло. Сейчас я увижу его. Сейчас, сейчас! Я выключил сцепление, нажал на тормоз и... Боже мой!

Да-да, вам, разумеется, понятно, что открылось. Вам, но не мне тогда. Не правда ли, только последний идиот мог этого не ожидать? И тем последним идиотом был как раз я. Но обалдел я поначалу даже не от неожиданного зрелища.

В первый момент вопрос: *где? Где он, Нижний Бинфилд?*

Не то чтобы его разрушили, снесли. Его попросту проглотили. То, что раскинулось внизу, являлось большим, солидным промышленным городом. Я помню – ох как хорошо я помню, и тут, уверен, память меня не подводит, – каким с холма виделся Нижний Бинфилд. Главная улица длиной примерно с четверть мили, и весь городок, кроме нескольких домов поодаль, в плане крестом. Основными городскими вехами высились церковная башня и труба пивоваренного завода, а сейчас я даже не смог их различить. Всю долину и склоны до середины холмов затопила новейшая застройка. Справа блестело несколько акров совершенно одинаковых ярко-красных крыш: надо полагать, ансамбль муниципальных учреждений.

А мой-то Нижний Бинфилд? Где родной городок? Да где-то тут. Все столь мне памятное затонуло в пучине кирпичного моря. Из полудюжины ныне торчавших фабричных труб не удалось даже узнать ту, что дымила над пивоваренным заводом. В восточной части появились две огромные фабрики из стекла и бетона. Город разросся, начал соображать я. Население прежде двухтысячного городка теперь, должно быть, составляет тысяч двадцать пять, не меньше. Единственным, чего не коснулись перемены, остался, по-видимому, Бинфилд-хаус. Виделся он лишь крохотным светлым пятнышком, но, как и раньше, белел в гуще букового леса на вершине противоположного холма, и город туда еще не добрался. Пока я смотрел, из-за холмов показалась, загудела над городом стая черных

бомбардировщиков.

Включив мотор, я медленно поехал вниз. На полпути к долине показались тесные ряды домов. Таких, знаете, типовых, уныло одинаковых домишек, что лезут сплошной массой и уступами, крыша над крышей, лепятся по склону. Однако, не доехав до домов, я вновь затормозил. Слева имелось еще кое-что абсолютно свеженькое – кладбище. Остановившись у его крытых ворот, я пригляделся.

Кладбище широко раскинулось акров на двадцать. От новых кладбищ – с их голыми, недавно засыпанными гравием дорожками, резкими вставками зеленого дерна и фабричной работы мраморными ангелами, похожими на сахарные финтифлюшки свадебных тортов, – всегда веет саднящей бесприютностью. Но сильнее всего меня царапнуло, что ничего подобного раньше вовсе не водилось. Не было никакого отдельного – отделенного от города – кладбища. А здесь, помнится, была ферма. Ну да, молочное хозяйство Блэкета. Сиротливый кладбищенский простор с особой силой дал почувствовать, до какой степени все изменилось. Дело не только в том, что стало много жителей и целых двадцать акров теперь нужно, чтоб хоронить покойников. Главное – их везут сюда и погребают за городской чертой. Заметили вы, как нынче делается? Новые кладбища непременно за окраиной, в предместьях. Давай-ка их куда-нибудь подальше, с глаз долой! Невыносимо, видишь ли, напоминание о смерти. Даже в надписях на могильных плитах та же история. Никогда не напишут, что похороненный под плитой человек «умер», – ну что вы! Он всего лишь «покинул нас» либо «уснул навеки». Раньше не так было. Кладбище помещалось в самом центре города, ты каждый день мимо ходил, видел кусок земли, где лежит дед, где тебе самому когда-нибудь лежать. И нас не отвращало это – смотреть на могилы. В жаркие дни мы наших мертвецов, признаться, даже носом чуяли, поскольку некоторые фамильные склепы были не слишком плотно замурованы.

Я позволил машине тихонько катить с холма. Странно! Ох до чего же странно! Всю дорогу вниз текли перед глазами призрачные картины: отчетливые видения деревьев, изгородей, бродящих коров. Словно бы мне одновременно виделось два мира: словно сегодняшний реальный мир только просвечивал сквозь яркие картинки того, старого. Вон поле, где бык гнался за малышкой Джинджер Роджерс! А вон местечко, где росли шампиньоны! Но не было вокруг полей, не было ни быков, ни грибов. Всюду дома, дома, голый кирпич, окна с пыльными занавесками и убожество задних двориков, где лишь чаща сорняков с едва пробившейся кое-где порослью чахлах шпорников. Сновали работяги, вытряхивали

половики женщины, играли на асфальте дети. И все-все – незнакомые! Они глазели вслед моей машине. И это я был заявившимся вдруг чужаком для них, не знавших ничего про Нижний Бинфилд, никогда не слыжавших о Шутере и Уэзероле, мистере Гриммете и дяде Иезекииле, да и, пари держу, ни капли тем не обеспокоенных.

Забавно, с какой быстротой ко всему привыкаешь. Пяти минут не прошло с момента, когда я, затаив дыхание, готовился снова увидеть Нижний Бинфилд, а то, что городок проглочен и затерян вроде древних столиц в джунглях Перу, уже стало обыденным фактом. Я пришел в себя: надо прямо смотреть на вещи. В конце концов, чего иного можно было ждать? Людям нужно жилье, и города должны расти. Кроме того, мой городок ведь не сожгли, не уничтожили. Пускай на месте окружавших его лугов теперь кишат дома, но где-то же он есть. И очень скоро я снова увижу церковный шпиг и трубу старой пивоварни, витрину отцовского магазина и рыночную конскую поилку. У подножия холма дорога в город расходилась. Я свернул влево и через минуту заблудился.

Не узнавалось ничего. Не угадывалось даже, далеко ли до прежних городских границ. Все, что я мог уразуметь, – вот этой улицы раньше не было. Несколько сотен ярдов я катил по ней – довольно обшарпанной неказистой улице, с фасадами прямо на тротуар, с мелькавшими на углах переулков бакалейными лавками или пивнушками, – и только недоумевал: куда, к черту, она ведет? Наконец, притормозив возле ступившей на мостовую женщины в грязном переднике и без шляпы, я высунул голову из окна:

– Прощу прощения, вы не скажете, как мне проехать к Рыночной площади?

Она «ой, даж нисколючко не знала». И выговор, и сам ответ выдавали привычку орудовать лопатой на картофельных полях Ланкашира. Много их, северных, теперь на юге Англии. Потоком из обнищавших краев. Приметив парня в комбинезоне, с мешком инструментов, я сделал новую попытку. На сей раз ответ прозвучал бойким лондонским говорком, хотя потребовал пары секунд раздумий:

– К центру? Рынок? Рынок в аренде щас. А-а! Может, вам *Старый* рынок?

Я подтвердил, что мне, видимо, «старый».

– Ну тогда от развилки вправо и кругалем.

Путь оказался длинный. Мили, наверно, не было, но показалось – миля. Дома, магазины, часовни, кинотеатры, футбольные площадки – новое, все новое. Опять шевельнулось чувство случившегося без меня

вражеского вторжения. Лавины пришлых, набежавших из Ланкашира или лондонских предместий, устроивших тут этот дикий хаос, не потрудившихся даже узнать и сохранить названия главных пунктов городка. Впрочем, мгновение спустя я понял, почему наша главная, Рыночная площадь сделалась у них Старым рынком. В центре сегодняшней городской территории шумела большая, со светофорами, весьма невнятной формы площадь, посередине которой монументальный бронзовый лев попирает орла (надо полагать, нечто военно-мемориальное). Сплошь новостройки! Сплошь убожество! Вам приходилось видеть эти, за последние годы стремительно вспухшие, как волдыри, городки вроде Хэйса, Слау, Дагенхема^[49]? Голо и неудобно, всюду грубая яркость свежих кирпичей, дешевка сомнительных, будто временных, витрин с конфетами по сниженной цене и радиодетальями. Вот точно то же самое. Но неожиданно я вывернул на улицу с рядами старых зданий – черт возьми! Главная улица!

Да нет, память все же не подвела меня. Здесь-то мне был известен каждый дюйм. Еще пара сотен ярдов, и Рыночная площадь. Наш магазин располагался на другом конце Главной улицы, туда я хотел пойти после завтрака (остановившись, оставив вещи в «Георге»). И каждый дом – воспоминание. Хоть вывески над большинством торговых заведений сменились и предлагался в них теперь другой товар, я все тут узнавал. Лавка Лавгроу! Лавка Тодда! И большой темный магазин с наружными балками и слуховыми окнами, его занимал филиал «Лиллиуайтса», где торговали тканями, где работала Элси. И магазин Гриммета! Похоже, по-прежнему бакалейный. А теперь к рыночной конской поилке! Машина, ехавшая впереди, мешала ее разглядеть.

Наконец у самой площади мешавшая машина вильнула в сторону – поилки не было.

На ее месте стоял, наблюдая за транспортным движением, представитель Автомобильной ассоциации. Кинув взгляд на мое авто и не увидев значка «АА», меня он решил не приветствовать.

Я свернул за угол, подъехал к «Георгу». Исчезновение поилки настолько выбило меня из колеи, что я даже не посмотрел, торчит ли еще труба пивоваренного завода. В «Георге» тоже от прежнего осталось лишь название. Фасад обновили и принарядили до полного сходства с шаблоном курортных гостиниц, вывеску поменяли. Интересно: за двадцать лет ни разу я ее не вспоминал, но сознание хранило примелькавшуюся с детства старую вывеску, она мгновенно всплыла в памяти во всех деталях. Наивно намалеванная композиция изображала святого Георга на очень тощем коне,

топчущем очень жирного дракона, и в облупившемся углу на выгоревшей краске мелкими буквами подпись: «Уил. Сандфорд, маляр и плотник». Новую, чрезвычайно стильную вывеску, несомненно, писал подлинный художник: нынешний святой Георгий выглядел образцовым педиком. Мощный двор, где когда-то стояли фермерские двуколки, куда выбегали накачавшиеся до рвоты пьянчуги, увеличился примерно втрое, стал бетонным и по периметру оброс рядами гаражей. Поставив машину в гараж, я направился к дверям гостиницы.

Человеческий мозг, если вы замечали, работает какими-то рывками. Никакое переживание долго не держится. Последние четверть часа я находился просто в шоке. Когда, глядя с Чэмфордского холма, я вдруг увидел, что нет больше Нижнего Бинфилда, меня чуть удар не хватил; открытие, что и конской поилки больше нет, сразило окончательно. По улицам я рулил в печали и унынии Ихавода^[50]. Но стоило мне вылезти из машины, нахлобучить мягкую фетровую шляпу, как отлетели, к дьяволу, угрюмые думы. Денек был такой солнечный, во дворе было так хорошо, так по-летнему: цветы в зеленых кадках, всякая прочая краса. К тому же я проголодался и предвкушал возможность неплохо перекусить.

Ну, с важным видом захожу в гостиницу – а ко мне уже кинулись встретить, уже тащат следом мои чемоданы, – чувствую себя таким успешным-процветающим и впечатление, видно, произвожу соответственное. Как пить дать солидный делащ (во всяком случае, если автомобиль мой не увидеть). Правильно, что я новый свой костюм надел: чистая шерсть, синий в узкую белую полоску; он мне идет и, как портные выражаются, «стройнит». Нет, точно я в тот день тянул на биржевого брокера. И ведь приятно, согласитесь, чудесным июньским деньком, когда солнце играет в розовых геранях под окнами, зайти в славный провинциальный ресторан, поджидающий тебя жарким из ягненка под мятным соусом. Не то чтобы гостиницы мне в радость, я их до черта повидал, и девяносто девять из ста – завалящие «номера для семейных пар и бизнесменов» вроде того бирмингемского «Роуботем-отеля», где я, предполагалось, сейчас занимал номер: пять бобов за ночевку с завтраком, простыни всегда сырые, и краны в ванной не работают. Но «Георг» стал таким роскошным, не узнать. Раньше-то и гостиницей он назывался с большой натяжкой – просто паб, имевший пару комнатенок для приезжих и предлагавший по базарным дням «фермерский ленч» (ростбиф с «йоркширом»^[51], жирный яблочный пудинг и стилтонский сыр). Все нынче было по-другому, только главная барная стойка, на которую я глянул

мимоходом, выглядела как прежде. В коридоре, устланном мягким ковром, украшенном по стенам гравюрами со сценами охоты, медными плошками и прочим «антикварным» хламом, смутно вспомнились звеневшие тут под ногами каменные плиты, запах пропитавшейся пивным духом штукатурки. Шикарная молодая особа в черном платье и с модной завивкой (надо думать, администратор) попросила представиться для записи в регистрационной книге:

– Желаете номер, сэр? Конечно, сэр. Будьте любезны, ваше имя, сэр?

Я чуть помедлил: наконец-то миг триумфа. Знакома ей наверняка моя фамилия – не частая и выбита на многих плитах церковного кладбища. Семейство наше было из самых почтенных в городе – нижебинфилдские Боулинги. И хотя несколько неловко обнаруживать свое известное имя, я был готов достойно встретить это испытание.

– Боулинг, – очень отчетливо произнес я. – Мистер Джордж Боулинг.

– Да, сэр, записываю: Бо... простите! «Бо-у» или «Бо-а»? Спасибо, сэр. Вы прибыли из Лондона, сэр?

Отклика никакого, ноль эмоций. Слыхом не слыхивала обо мне. Знать не знала про Джорджа Боулинга, сына Сэмюеля Боулинга – того самого Сэмюеля Боулинга, который, черт побери, более тридцати лет каждую субботу выпивал свои полпинты в этом пабе!

2

Столовый зал тоже переменился.

Хоть сам я никогда не ел в нем, хорошо помнилось помещение с закопченной каминной полкой, бронзово-бурыми обоями (то ли такого цвета, то ли побуревшими от дыма), с изображавшей битву при Тель-эль-Кебире^[52] картиной кисти все того же Уил. Сандорфа, маляра и плотника. Теперь интерьер отделали в некоем «средневековом» стиле. Камин кирпичный, с местечком посидеть «у камелька», поперек потолка массивная балка, стены обшиты дубовыми панелями, и во всем издали бьющая в глаза фальшь. Балка, например, была действительно дубовая (вероятно, брус от старого парусника), но накладная, ничего она не подпирала, а стенная обшивка сразу мне показалась подозрительной. Усевшись за стол, сделав заказ игравшему салфеткой лощеному официанту, я пальцами постучал по стене за спиной. Точно! Даже не дерево – какая-то выкрашенная «под дуб» искусственная пакость.

Однако завтрак оказался вполне на уровне. Подали мне моего ягненка

с мятным соусом, подали бутылку белого вина (или чего иного) с французским названием – напиток, вызвавший легкую отрыжку, зато весьма поднявший настроение. Завтракал я не один, в зале еще сидела белокурая дамочка лет под тридцать, по виду вдовушка. Поглядывая на нее, я размышлял, остановилась ли она в гостинице, прикидывал: не выйти ли вместе с ней? Смешно, какая мешанина в наших чувствах. Все время виделись призраки; прошлое так и лезло из настоящего. Виделось, как съехавшиеся в базарный день здоровяки фермеры, вытянув ноги под длинными столами, звякая по каменным плитам пола сапожными гвоздями, работают челюстями, перемалывая абсолютно непосильные для человеческого организма порции мяса и яблочных пудингов. И тут же вновь перед глазами столики со сверкающими на белых крахмальных скатертях бокалами и свернутыми салфетками, вся эта стильная дороговизна, весь этот фальшивый декор. И тут же мысли: «На мне новый костюм, в бумажнике двенадцать фунтов. Ну кто бы мог поверить, что я, малыш Джордж Боулинг, когда-нибудь приеду в Нижний Бинфилд на собственном автомобиле?» И тут же по телу теплой волной приятность от выпитого вина, и, кинув взгляд на белокурую дамочку, я ее мысленно раздеваю.

После ленча я перебрался к бару в салоне отдыха (опять-таки разделанном под Средневековье, но уставленном обтекаемыми кожаными креслами и столиками со стеклянным верхом): лениво развалился, попивал бренди и попыхивал сигарой. Призраки продолжали осаждать, но вообще я блаженствовал. Честно сказать, будучи под хмельком, я все надеялся, что зайдет белокурая дамочка, завяжется знакомство. Дамочка, однако, так и не появилась. Время уже подходило к послеобеденному чаю, когда я вышел из гостиницы.

Неспешно дойдя до Рыночной площади, я повернул налево. Магазин, наш магазин! Чудно, ей-богу. Двадцать один год назад, в день похорон матери, я, проехав мимо, из окна кеба поглядел на заколоченную дверь, пустую пыльную витрину, счищенную паяльной лампой надпись на вывеске, и хоть бы хны. А сейчас, по прошествии стольких лет, когда уже кое-какие детали родного жилища позабылись, у меня от мысли, что снова увижу мой дом, сердце ныло и внутренности холодели. Я миновал парикмахерскую. Она сохранилась, только хозяин значился другой. Из дверей на меня пахнуло теплой пеной миндального мыла; не так душисто, как прежней табачно-одеколонной смесью гвоздики и «Латакии». Магазин – наш магазин – был всего в двадцати шагах отсюда. Господи!

На нашем доме, исполненная в изящном духе, видимо, тем же

живописцем, что рекламировал «Георга», красовалась вывеска:

ЧАЙНОЕ КАФЕ «ОБИТЕЛЬ ЭЛЬФОВ»

Утренний кофе

Домашняя выпечка

Кафе!

Наверняка меня бы равно потрясла мясная или скобяная лавка и вообще что угодно вместо нашей торговли семенами. Считать, что коль родился в некоем доме, то у тебя на него вечные права, нелепо. Нелепо, но так ощущаешь. Что ж, заведение отлично соответствовало вывеске. В витрине лазурные драпировки и несколько стандартных кексов: таких, знаете, политых шоколадной глазурью и с воткнутым наверху одиноким грецким орехом. Я вошел. Чаю нисколько не хотелось, мне просто надо было посмотреть.

В кафе, как выяснилось, превратились и магазин, и наша скромная гостиная. Что касается заднего двора, где стоял мусорный ящик и где на грядках отец растил травы разных сортов, двор полностью замостили, расставили там нарочито грубо сколоченные столы, горшки гортензий, прочие «крестьянские» прелести. Я прошел в помещение нашей бывшей гостиной. Море призраков! Призраки пианино, вышитых цитат из Библии на стенах, пары продавленных бордовых кресел, сидя в которых по обе стороны камина, отец с матерью по воскресеньям читали их любимые газеты: он – свой «Народ», она – свои «Всемирные новости». Для оформления новые хозяева выбрали стиль еще более «исконно древний», чем в «Георге»: массивные столы на створчатых опорах, кованый железный светильник, развешанные оловянные тарелки. И замечали вы, какую темень непременно устраивают в этих кафе, претендующих на тонкий вкус? Элемент стильной старины, я полагаю. Вместо обычной официантки девица в какой-то узорчатой хламиде. Встретила она меня кисло и хмуро, заказанный чай принесла лишь минут через десять. Известного сорта чаек – китайский, такой слабенький, что от воды не отличишь, пока не дольешь молока. Сидел я почти точно на том месте, где когда-то располагалось отцовское кресло. Сидел и чуть не наяву слышал, как отец вслух зачитывает нам «кусочки» (его слово) из газетных статей о летательных машинах или о моряке, которого проглотил кит. От полноты своих тайных переживаний даже тревожило диковатое чувство, что я втерся обманом и меня, разоблачив, погонят вон, и в то же время ужасно тянуло рассказать кому-нибудь, что я родился здесь, вот в этом доме, и даже более того:

искренне ощущаю – этот дом *мой*. Других посетителей не было. Девушка в узорчатой хламиде томила у окна, мое присутствие явно мешало ей со вкусом поковырять в зубах. Я попросил ее принести ломтик кекса. «Домашняя выпечка»! Как же! На маргарине и яичном порошке. Но все-таки очень хотелось поговорить, и я спросил:

– Давно вы в Нижнем Бинфилде?

Девушка вздрогнула, недоуменно глянула и промолчала.

– Я сам когда-то жил в Нижнем Бинфилде. Давненько, правда.

Вновь в ответ ни слова, лишь еле слышный нечленораздельный звук. Окинув меня ледяным взглядом, официантка опять отвернулась таращиться в окно. Понятно. Леди не пристало так запросто болтать с клиентом. Кроме того, она, видно, решила, что я пытаюсь с ней заигрывать. И зачем говорить, что я родился в этом доме? Даже если она поверит, ей плевать. Не слышала, ничегошеньки не знает о магазине «С. Боулинг: торговля кормовым зерном и семенами». Заплатив по счету, я убрался.

Прошелся до церкви, всю дорогу и страхась и надеясь, что кто-нибудь из земляков меня признает. Зря беспокоился: на улицах ни одного знакомого лица. Казалось, городское население сменилось целиком.

Около церкви стало ясно, почему понадобилось новое кладбище. Старое было набито до отказа, причем на половине плит фамилии, мне неизвестные. Но памятные имена найти было нетрудно. Я побродил среди надгробий. Церковный сторож только что скошил траву, и даже здесь стоял прекрасный запах лета. Они покоились в полнейшем одиночестве, все наше старшее поколение. Мясник Грэвит и Уинкль, тоже торговец семенами, и владелец «Георга» Трю, и державшая лавку сластей миссис Уилер – все лежали тут. Могилы Шутера и Уэзерола по соседству, но, как когда-то в церкви, с разных сторон аллеи, словно соперники все еще силились перепеть друг друга. До ста лет Уэзерол все же не дожил: рожденный в 1843-м, он «ушел из жизни» в 1928-м. Но Шутера, как всегда, победил: тот умер в 1926-м. Каково ж было Уэзеролу в его последние два года, когда не стало никого, с кем можно сразиться мощью голосовых связок! Над старым Гримметом воздвигли мраморную машину, формой напоминавшую пирог с ветчиной и телятиной и окруженную чугунной оградой, а в углу целый батальон Симонсов под простыми деревянными крестами. Все превратились в прах. И старик Ходжес с прокуренными дочерними зубами, и шорник Лавгроу с его пышной каштановой бородой, и леди Рэмплинг с грумом на запятках ее кареты, и тетка Гарри Барнса, у которой был стеклянный глаз, и мельник Брувер с его злобным, морщинистым, похожим на темный орех лицом, – ничего от них не осталось, кроме этих

надгробных плит и невесть чего под землей.

Я отыскал могилу матери; отцовская была рядом. Обе могилы выглядели довольно прилично: сторож не давал им зарости. Дядя Иезекииль лежал чуть дальше. Большинство старинных могильных холмиков сровняли; выступавшие, словно остовы кроватей, брусья каркасных деревянных рам убрали. Что чувствуешь, когда, явившись через двадцать лет, глядишь на могилы родителей? Не знаю, как вы, а я, скажу прямо, кое-что чувствовал. Отец и мать в моем сознании не ушли. Как будто все еще существовали где-то там, в какой-то вечности. Мать подле заварочного коричневого чайника, отец в очках, с мучнистым налетом на лысине и седыми усами, – навеки так застывшие, как на картине, и все же неким образом живые. А эти зарытые в землю ящики с костями вроде бы и отношения к ним не имели. Стоя на кладбище, поневоле задумаешься о том, каковы переживания за гробом, многое ли волнует там и скоро ли волнения уходят, но мысли мои резко оборвала упавшая, обдавшая холодком густая черная тень.

Я оглянулся – просто, заслонив солнечный диск, летел бомбардировщик. Показалось, по земле пробежала дрожь.

Потом я забрел в церковь. Впервые после возвращения в Нижний Бинфилд здесь не явились мне (во всяком случае, не показались) духи прошлого. Поскольку ничего не изменилось. Ничего, кроме паствы, лежавшей теперь на погосте. Даже подушечки, чтоб опускаться на колени, были, похоже, те же самые. И тот же запах пыли со сладковатым душком тлена. И – бог ты мой! – та же дырка в оконном витраже, только сейчас, вечером, солнце светило с другой стороны и луч не полз по каменному полу. Темнели старые скамьи – до них еще не добрались, не заменили на ряды удобных стульев. Вот наша, а вот та, передняя, на которой ревел-грохотал Уэзерол, сражаясь с Шутером. «Сигон, царь Аморрейский, и Ог, царь Васанский!» И стертые подошвами плиты в проходе, с остатками едва различимых эпитафий особам, что покоились внизу. Я, кряхтя, присел посмотреть одну плиту возле нашей скамьи. Сохранившуюся на ней лишь по краям надпись я помнил наизусть. Она буквально врезалась мне в память; миллион раз, наверно, я перечитывал ее во время проповедей:

«Здесь... сон, дворянин
этого прихода... верно и
честно...

...

... обилие его

щедрот и добродетелей...

...

... возлюбленной супругой
Эмилией... ему семерык
дочерей...»

Помню, как озадачивала меня в детстве эта выбитая старинным шрифтом буква «х», которую я читал как «к». А может, раздумывал я ребенком, в старину так и говорили: «прикод», «семерык»? Отчего ж нынче произносят по-другому?

Послышалось шарканье шагов. Я поднял глаза. Притащилась персона в рясе, сам викарий.

Но я знал, *кто* этот священник! Старый Беттертон, и раньше служивший тут викарием, правда, не с тех самых пор, когда меня начали водить в церковь, а так примерно с 1904-го. Несмотря на совершенно побелевшие волосы, я сразу его узнал.

А он не узнавал меня. Для него я был только экскурсантом, толстяком в синем костюме, зашедшим поглазеть. Он поздоровался и тотчас завел привычные речи: мол, если меня интересует история, передо мной замечательный архитектурный памятник, возведенный еще в эпоху саксов, и т. п. И бодро заковылял, показывая достопримечательности типа норманнской арки у входа в ризницу и медного барельефа с портретом сэра Родерика Бона, павшего в битве при Ньюбери. Я покорно плелся за ним с тем видом выпоротой собачонки, какой обычно наблюдается у среднего возраста делашей, когда их тащат по древним соборам или картинным галереям. Но сказал я ему, что мне здесь все доподлинно известно? Сказал, что я Джордж Боулинг и, даже если он меня не помнит, то помнит, разумеется, моего отца – Сэмюеля Боулинга; что я не только в течение десятка лет слушал его проповеди, подростком ходил на его занятия по подготовке к конфирмации, но даже был членом возглавлявшегося им Общества книголюбов и лишь в угоду ему взялся читать «Сезам и Лилии»? Нет, не сказал. Просто волокся вслед за ним, время от времени издавая невнятное мычание, как всегда, когда вам торжественно сообщают, что вон тому-то иль тому-то уже пять сотен лет, а вы не можете взять в толк, о чем тут говорить, какого дьявола смотреть на это. С первой секунды встречи со священником я решил не напоминать о себе, остаться заезжим незнакомцем. Как только позволили приличия, я бросил полшиллинга в церковную кружку и дунул к выходу.

Но почему? Почему не возникло желания возобновить знакомство, когда я наконец нашел кого-то, кого я знал?

Да потому что меня просто испугало: выглядел викарий совсем не так, как двадцать лет назад. Вы полагаете, я имею в виду – он слишком постарел? Наоборот! Выглядел он теперь *моложе*. И неожиданное это впечатление преподало мне некий урок насчет бегущего времени.

Нынче викарию Беттертону было, по-видимому, годков шестьдесят пять. Стало быть, когда мы расстались, ему было сорок пять, как мне сейчас. Шевелюра его тогда, на обряде похорон матери, серо-пегая, наподобие кисточки для бритья, сделалась белоснежной, и все-таки, едва я глянул на него, меня ошеломило, что вид у него стал моложе. Я-то привык воспринимать его весьма и весьма пожилым, а это, оказывается, был вовсе не старец. Как всем юнцам, люди за сорок поголовно виделись мне старой рухлядью, старичьем таким дряхлым, что конкретный возраст уже не различался. Мужчина сорока пяти лет мне казался старше, чем сейчас этот бодрый попрыгун шестидесяти пяти. Господи Боже! Мне самому стукнуло сорок пять. Тут испугаешься.

Так вот каким я вижусь молодым парням, думал я, удирая по дорожке между могилами. Видят только несчастного старого бегемота, хрыча полудохлого. Хм, любопытно. Обычно возраст мой меня нисколько не волнует. А что мне волноваться? Пусть с жирком, но я сильный, здоровый. Способности пока соответствуют желаниям, и ароматы роз влекут, как в двадцать лет. Хотя вот сам-то я сладко ли пахну нынче для этих роз? Словно ответ, на кладбищенской аллейке показалась девушка лет восемнадцати. Ей пришлось пройти в шаге от меня, и я поймал оттенок ее взгляда, бегло мазнувшего по моему лицу. Нет, не враждебного взгляда, не боязливого. Лишь с той холодной, чужеродной отрешенностью, какую видишь иногда в глазах животных. Девушка родилась и выросла в годы, когда я находился далеко от Нижнего Бинфилда. Во всех моих воспоминаниях для нее не было бы ни крупинцы смысла. Она, как звери, жила в совершенно ином мире.

Я вернулся в «Георг». Хотелось выпить, но бар открывался только через полчаса. Я поболтался по салону, полистал прошлогодний номер «Театра и спорта», и тут вошла та самая белокурая дамочка, возможно вдовушка. Ужасно захотелось провести с ней приятный часок. Хотелось себе доказать, что жив еще старый пес, пускай и со вставной челюстью. Что ж, рассуждал я, ей лет тридцать, мне сорок пять – вполне подходящая парочка. Стоял я у холодного камина, спиной прямо к очагу, будто поджаривая зад (поза, доступная лишь летним днем). Смотрелся, надо

полагать, в новом своем синем костюме весьма недурно. Толстоват, есть немного, зато, как говорят французы, *distingue*^[53]. Солидный, респектабельный мужчина. Не ниже биржевого брокера. В самом изысканном тоне я уронил небрежно:

– Прелестный июнь в этом году...

Милая нейтральная реплика, не так ли? Повыше классом, чем «простите, мы с вами раньше не встречались?».

Однако успеха мое светское замечание не имело. Через секунду, оторвав глаза от раскрытой газеты, дамочка метнула на меня взгляд такой каменный, что стекло бы вдребезги. Кошмарное дело. У нее были эти ледяные голубые глаза, которые вонзаются в тебя как пули. Вмиг стало ясно, сколь неверно я ее оценил. Отнюдь не из тех вдовушек с крашеными волосами, кто приходит в восторг от приглашения пойти куда-нибудь потанцевать. Явная миссис из верхов среднего класса, может даже, какая-нибудь адмиральская дочка; воспитывалась, разумеется, в этих их благородных школах, где девочки играют в хоккей на траве. Да и насчет себя я размечтался. В новом или не новом костюме, на биржевого брокера никак я не тянул. Всем сразу видно: разъездной торгаш, словивший горсть денег. Я шмыгнул к основному бару принять пару пинт перед обедом.

Пиво было не то, что прежде. Старое доброе пиво, что варили в долине Темзы, имело особый «меловой» привкус, поскольку здешняя вода из почвы со сплошным известняком. Я спросил барменшу:

– Пивным заводом все еще владеет Бессемер?

– Как? Бессемер? У-у, что вы, сэр! Того сожрали с потрохами. Давным-давно еще, до нас, до того как мы переехали сюда.

Дружелюбной барменше (я этот тип ее товарок называю «старшими сестричками») было за тридцать пять; доброе пухлое лицо и толстые ручки, постоянно качавшие пивной насос. Она назвала мне картель, купивший завод Бессемера. Вообще-то смену владельцев можно было ощутить уже на вкус. Вдоль стен зала по кругу располагались за перегородками отсеки дополнительных баров. Два малых, играя в «дартс», метали стрелки в мишень на стене за пивной стойкой, а из отсека «Кувшин и бутылка» иногда слышался замогильный бас сидевшего там невидимого мне парня. Опершись на стойку мощными как окорока локтями, барменша вступила в беседу со мной. Я перечислял имена знакомых земляков, и не нашлось ни единого, о ком она что-нибудь знала. Жила она в Нижнем Бинфилде, по ее словам, всего пять лет, не слышала даже о старом Трю, прежнем хозяине «Георга».

– Я ведь и сам из Нижнего Бинфилда, – сообщил я ей. – Давненько,

правда, отсюда уехал, еще до войны.

– Ой, до войны? Ну надо же! На вид не скажешь, что вам столько лет.

– Гляди получше, вот чего! – мрачно посоветовал бас из «Кувшина и бутылки».

– Разросся город, – сказал я. – Благодаря новым фабрикам, я думаю.

– Ну да. Большинство здешних на фабриках работают. Делают граммофоны, потом еще эластичные чулки. Теперь-то уж, конечно, на бомбы перешли.

Я не совсем понял это ее «конечно», но она стала рассказывать про одного молодого приятеля с чулочной фабрики, который регулярно посещал «Георг» и говорил, что для удобства (какого, я опять-таки не понял) бомбы они, как и чулки, изготавливают парами. Затем последовал рассказ насчет большого военного аэродрома близ Уолтона – так вот откуда эти постоянно летавшие над головой и дергавшие нервы бомбардировщики! – и тут же мы, естественно, заговорили о войне. Смех, да и только. Сбежал сюда, именно чтоб о ней не думать, но как не думать, как? Это же в самом воздухе, которым дышишь.

Я сказал, что начнется в 1941-м. Бас из «Кувшина и бутылки» добавил, что потеха будет хреновая. Барменша сказала, что ее просто в дрожь бросает.

– Да уж при том, что нынче делается, чего хорошенького ждать? – вздохнула она. – Иной раз лежишь ночью, не спишь, слушаешь, как эта жуть гудит в небе, а сама думаешь: «Ну-ка вот бомбы-то валить начнут прям тебе на голову!» И вся эта их ПВО. Мисс Тоджерс, что уполномоченная по гражданской обороне, говорит: не терять спокойствия, окна газетами заклеить, и все будет в порядке. Еще, болтают, в мэрии постановили защитный ров копать. Но вы скажите, как же на младенца противогаз натягивать?

Бас из «Кувшина и бутылки» сообщил, что читал в газете: надо ванны горячие принимать, пока бани работают. Парней возле пивной стойки это развеселило, посыпались игривые шуточки насчет того, сколько народу влезет в одну ванну и не захочет ли барменша искупаться вместе с ними. Велев острякам не нахальничать, барменша пошла к концу стойки уgomонить парней парой громадных кружек «старинного» и «легкого». Я хлебнул свое пиво. Отменная дрянь. «Горькое» называется. Горькое – это точно, одна горечь и еще серой отдает, – сплошная химия. Теперь, я слышал, из английского хмеля пиво не варят, хмель целиком идет на производство химического концентрата. А вот затем, уже из концентрата, это пиво. Подумалось, как дядя Иезекииль высказался бы насчет подобного

пивка, гражданской обороны и припасаемого в бочках песка, которым собираются гасить термитные бомбы. Тут барменша вернулась на свой пост у крана, и я спросил:

– А кстати, кто сейчас хозяин в «Усадьбе»?

«Усадьбой» у нас издавна привыкли называть Бинфилд-хаус, но барменшу вопрос мой явно озадачил.

– В усадьбе, сэр?

– Про Бинфилд-хаус он те грит, – донеслась подсказка из «Кувшина и бутылки».

– А-а, Бинфилд-хаус! Я-то не пойму, в какой такой усадьбе, если город. А в Бинфилд-хаусе теперь доктор Меррол.

– Доктор Меррол?

– Ну да, сэр. Люди говорят, у него пациентов за полсотни.

– Пациентов? Там, стало быть, теперь больница?

– Не то чтобы обычная больница, а больше как бы санаторий. Для нервных, то есть этих самых, которые с душевными болезнями...

Психушка!

Впрочем, а чего иного и можно было ждать?

3

Я выполз из постели со скрипом в костях и скверным вкусом во рту.

Бутылка вина за завтраком, еще одна к обеду, несколько кружек пива в промежутке и еще пара-тройка стопок бренди – выпито накануне было многовато. Несколько минут я стоял на ковре посреди комнаты, тупо глядя в пространство, разбитый, не в силах двинуться. Знаете, эта нападающая порой ранним утром адская слабость. Ощущается главным образом в ногах, но ясней любых слов твердит тебе: «На кой черт вся эта морока? Брось, парнишка! Иди-ка сунь несчастную свою башку в газовую духовку!»

Надев зубной протез, я подошел к окну. Снова прекрасный день. Солнце только коснулось крыш, зарозовело на фасадах домов напротив. Цветущая герань в оконных ящиках смотрелась довольно симпатично. Хотя еще восьми не было и это была лишь боковая улочка в углу Рыночной площади, по тротуарам уже сновала толпа народу. Совсем как в любом пригороде Лондона, когда клерки торопятся к Трубе^[54], лился поток чиновной мелюзги в темных костюмах и с пухлыми портфелями; стайками или парами спешила в сторону площади школьная ребятня. Поднялось то

же чувство, что вчера при взгляде на заполонившие Чэмфордский холм густые кирпичные джунгли, – вторглись, чужаки проклятые! Двадцать тысяч незваных гостей, даже не знавших, как меня зовут. И там кипит-бурлит их жизнь, а тут я – старый жирный бедолага с фальшивыми зубами, уныло глядящий из окна, назойливо бормочущий о никому не нужной ерунде тридцатилетней, сорокалетней давности. Черт подери, ошибся я, воображая, что вокруг ходят привидения! Сам я призрак, сам я мертвец, а вот они реальные, живые.

Однако после завтрака (пикша, поджаренные почки, тосты, мармелад и целый кофейник кофе) на душе полегчало. Замороженной мадам в столовом зале не было, витало приятное летнее настроение, и внутри все-таки теплилась вера, что синий фланелевый костюм придает мне элегантности. Ну и прекрасно! Если уж я привидение, так буду им! Пойду поброжу-полетаю по старым обиталищам. Может, сумею напустить толику злых чар на ублюдков, укравших у меня мой родной город.

И я отправился, но не далее Рыночной площади меня остановило неожиданное зрелище. Процессия из полусотни школьников настоящим солдатским строем маршировала колонной по четыре в сопровождении шагавшей рядом на манер сержанта суровой женщины. Первая шеренга несла транспарант, на котором в рамке красно-бело-синих полос громадными буквами было начертано:

БРИТАНЦЫ ГОТОВЯТСЯ!

Из своего заведения на углу вышел поглазеть парикмахер, черноволосый парень с глянцевою прической и тусклым безрадостным лицом.

– Что за гуляние у ребят? – спросил я у него.

– Так это тренировка вроде, – неопределенно ответил он. – Ихнее ПВО. Как бы вот упражняются. В этой, в гражданской обороне. А это вон она, мисс Тоджерс.

Не трудно было догадаться, что это и есть мисс Тоджерс. Узнавалась по глазам. Знакомый тип железной старой ведьмы с седыми волосами и будто прокопченным лицом (вожатая девочек-скаутов, комендант общежития Союза молодых христианок и прочее в том же роде). Пиджак и юбка выглядели на ней армейской формой, воображение легко дорисовывало командирский ремень с портупеей. Навидался я таких мегер. Во время войны служила в Женских вспомогательных войсках, с тех пор никаких радостей. ПВО для нее сейчас просто счастье. Когда дети топали

мимо, раздался ее абсолютно сержантский окрик: «Моника! Выше ногу!» Над замыкающей шеренгой вздымался второй транспарант с красно-белосиней каймой и крупной надписью:

МЫ ГОТОВЫ. А ВЫ?

– Но зачем им понадобилась эта детская маршировка туда-сюда? – снова спросил я парикмахера.

– Да кто их знает. Видать, пропаганду свою разводят.

Яснее ясного. Давайте приучайте ребят к войне. Во всех нас вбейте убеждение, что никак по-другому невозможно, что налеты неминуемы, как весна или Рождество, и потому не спорь, ныряй в убежище. Два больших черных самолета уолтонской авиабазы с гулом пронесли над восточным районом города. Господи! Когда это грянет, мы удивимся не больше, чем хлынувшему ливню. Нам уже слышатся разрывы бомб. Парикмахер напоследок сообщил, что благодаря активности мисс Тоджерс всех школьников снабдили противогазами.

Ладно, занялся я обследованием города. Два дня бродил по всяким памятным местам, которые мог опознать. И ни разу знакомого лица не встретилось. Блуждал как привидение и, хоть телесной оболочки не утратил, ощущал себя именно потусторонним.

Так было странно мне, не рассказать. Вам когда-нибудь попадалась повесть Герберта Уэллса о парне, что одновременно находился в двух разных местах (вообще-то был у себя дома, но чудилось ему, что он на морском дне)? Ходил парень по комнате, а вместо стульев и столов видел лианы колыхавшихся водорослей, огромных крабов и норových цапнуть его каракатиц. Точно как я. Часами бродил по миру, давно исчезнувшему. Посчитать бы, сколько миль исходил по тротуарам, вглядываясь и морща лоб: ага, тут поле начиналось, изгородь тянулась поперек этой мостовой и через тот дом. Где бензиновая колонка, там раньше рос огромный вяз. Здесь шла граница участков, арендованных под огороды. А эта улица (когда-то рядок двухквартирных домишек, назывался он Загородный проход) – это ж заросший с обеих сторон густым орешником проулок, которым мы шлепали на прогулки с Кейти Симонс. Расстояния помнились не совсем верно, но общее расположение держалось в памяти. Никто, в том числе я, не доведись мне здесь родиться, не поверил бы, что всего двадцать лет назад все эти улицы были лугами. Будто разверзлись вдруг вулканы и потоки лавы похоронили под собой сельские окрестности. Земли старого Брувера пошли под кварталы муниципального жилья. Мельница снесена;

тинистый пруд, где я выудил свою первую рыбу, осушен, засыпан и застроен, так что я даже не сумел определить, где в точности он находился. Дома, дома, дома – ряды неотличимых краснокирпичных кубиков с оградками крохотных палисадников и асфальтовыми дорожками к передней двери. Строительство главным образом муниципальное, но спекулянты тоже постарались. Там и сям накрошены группки домов для тех, кто способен купить себе жилье; остатки развороченных лугов с временными трассами для подвозки материалов, штабелями досок на незастроенных участках и пустырями, усеянными жестью консервных банок среди чертополоха.

В центре старого города изменений было поменьше. Многие магазины, сменив имена владельцев, сохранили свою специфику. В «Лиллиуайтсе» по-прежнему торговали тканями, хотя особого процветания не наблюдалось. Лавка мясника Грэвита превратилась в магазин радиодеталей. Витринку, где зазывали сласти мамыши Уилер, заложили кирпичом. Бакалея Гриммета осталась бакалеей, но теперь принадлежала некой международной компании, что лишний раз заставляло задуматься о мощи этих корпораций, легко глотавших даже таких ушлых живодеров, как старый Гриммет. Единственным магазином, оставшимся в тех же руках, был разоривший отца «Сарацин». Заведение чудовищно разрослось, открыв еще один филиал в новом районе, причем сделалось просто-таки универмагом, помимо прежнего садово-огородного ассортимента продававшим мебель, лекарства, столярную фурнитуру, слесарный инструмент и крепеж.

Два дня я чуть ли не с утра до вечера бродил, цепями не гремел и не стонал, хотя порой очень хотелось. К тому же постоянно выпивал сверх своей нормы. Начал прикладываться сразу, как приехал в Нижний Бинфилд, после чего возникла стойкая досада на закрытые до известного часа бары. Глотка моя пересыхала регулярно за полчаса до их открытия.

Заметьте, я не все время ходил чернее тучи. Иногда казалось – ну не конец света, что извели мой прежний Нижний Бинфилд. В общем-то, разве я сбежал сюда не для того, чтоб отдохнуть на воле от семейства? Нет никаких препятствий реализовать все то, что было мной намечено; можно и рыбу поудить, раз нравится мне это дело. В субботу днем я даже сходил в рыболовный магазин на Главной улице: купил удилище из клееного полого тростника (мальчишкой так о нем мечталось, но оно стоило дороже, чем цельное, с невычищенной сердцевинкой), купил крючки, поводки и все прочее. Атмосфера магазина меня взбодрила. Как бы мир ни менялся, рыбацкая снасть осталась той же – лишь потому, конечно, что рыба

осталась рыбой. И продавцу вовсе не показался комичным толстый старый тип, покупающий удочку. Напротив, мы даже поговорили насчет рыбалки на Темзе, обсудили крупного голавля, взятого кем-то в прошлом году на пасту из серого хлеба, меда и вареной крольчатины. Я даже приобрел (не сообщая, для чего, и едва сознаваясь в этом сам себе) прочнейшую из тех, что там имелись, плетеную леску и несколько крупных, особо зацепистых крючков – таил все же надежду на еще сохранившихся в озерке Бинфилд-хауса громадин.

Все воскресное утро я мучился вопросом, идти или же не идти рыбачить. То мне казалось: а какого черта не пойти? То это представлялось лишь одной из тех вещей, о которых мечтаешь, но никогда не делаешь. Однако днем я сел в машину и поехал к Барфордской плотине. Решил, что просто взгляну на реку, а завтра, если погода не подведет, возьму новую удочку, надену припасенные в чемодане старый пиджак, старые серые брюки и всласть половлю рыбку. Денька три-четыре, пока не надоеет.

Переехал я Чэмфордский холм. С той стороны его подножия, параллельно круто свернувшему шоссе шла тропа. Выбравшись из машины, я зашагал по ней. Ох, и тут лагерь беленьких бунгалов с красными крышами. Можно было предположить, конечно. Показалось, правда, что многовато стоявших вокруг автомобилей. Ближе к реке слышалась музыка... да, пум-блям-блям-пум! Да, граммофоны!

Я миновал поворот, и глазам открылась панорама. Силы небесные! Новый шок! Весь берег кишел народом. На пространстве, где прежде расстилались заливные луга, всюду торчали «восточные» чайные домики, киоски со сладостями и торговые автоматы, шустрили разносчики фирменного мороженого «Уолл». Как в Маргите или на любом другом курорте побережья. А я помню, какой была эта тропа – дорога для тяги судов на бечеве. Шагай себе мило за милей и, кроме речников у шлюзовых ворот или очередного лодочника, что лениво плетется за тянущей его баржу конягой, не встретишь ни души. Всегда у тебя для рыбалки здесь было собственное место. Частенько я весь день сидел на берегу, ярдах в пятидесяти на мелководе гуляла цапля, и часа по три, по четыре мимо не проходил никто, кто мог ее испугнуть. И почему это я вдруг решил, что взрослый люд теперь удить не ходит? По краю берега, насколько видел глаз, тянулась непрерывная цепь мужчин с удочками, по рыбаку через каждые пять ярдов. Сначала изумление: что ж они таким строем хотят выудить? Потом я сообразил – члены какого-нибудь там рыболовного клуба. А на реке полным-полно лодок: гребные шлюпки, плоскодонки с шестами, байдарки и моторные катера, набитые безмозглым молодняком,

которому бы только орать и визжать, да еще под рев граммофонов на борту. Поплавки бедняг, пытавшихся удить рыбу, качало и сносило волнами от моторок.

Я немного прошелся вдоль цепочки рыбаков. Мутно рябила, несмотря на ясный день, вода. Ни у кого никакого, даже самого мизерного, улова. И надеялись ли на него? Кишевшей здесь толпы хватило бы распугать рыбу всех морей. Вообще, полавки среди массы колыхавшихся бумажных пакетов и стаканчиков из-под мороженого вызывали много сомнений. Есть еще рыба в Темзе? Наверно, все-таки должна быть. Однако вот сама вода, клянусь, не та, что прежде. Цвет стал совсем другой. Вы, разумеется, уверены, что это мои домыслы, но говорю вам – вода изменилась. Я ж помню Темзу, помню мерцавшую зеленоватую прозрачность воды, сквозь которую можно было наблюдать стайки голавлей, круживших на глубине среди тростинки камыша. Теперь и на три дюйма вглубь ничего было не увидеть. Бурая муть, подернутая масляной пленкой горячего моторных лодок, не говоря уж об окурках и бумажках.

Вскоре я повернул обратно. Нервы больше не выдерживали оглушительного граммофонного воя. Конечно, это в воскресенье, думал я, а в будни, может, не так мерзко. Но уже понимал, что никогда я сюда не вернусь. Да провались они, пускай резвятся на своей чертовой реке. Куда угодно пойду удить рыбу, только не на Темзу.

Вокруг роились толпы людей, преимущественно молодых. Уйма веселых юных парочек. Мимо гурьбой пропорхнули красотки, все в брюках колоколом и белых фуражках, как на американском флоте, над козырьками задорные надписи. У одной из девчонок, лет семнадцати, на фуражке «Эй, поцелуй меня!». Я бы не прочь... Что-то толкнуло подойти к автомату для взвешивания пляжников, встать на весы и опустить пенни. В утробе механизма щелкнуло (автомат был тем популярным агрегатом, который сообщает и вес твой, и твою судьбу), из щели выполз листочек с печатным текстом:

Вы человек исключительно одаренный, но до сих пор не получили должного признания из-за своей чрезмерной скромности. Ваши таланты недооценивают. Предпочитая оставаться в тени, вы позволяете другим приписывать себе успехи, достигнутые вами. Натуру вашу отличают нежность, чувствительность и преданность друзьям. Вы необыкновенно привлекательны для противоположного пола. Ваш главный недостаток – великодушие. Верьте в себя, впереди грандиозные

победы!

Вес: 207 фунтов 12 унций.

За три последних дня, как оказалось, я прибавил целых четыре фунта. Должно быть, выпивка.

4

Я вернулся в «Георг», загнал машину в гараж и угостился запоздалой чашкой чая. По случаю воскресенья перерыв в баре был длиннее. Чем еще два часа томиться, я предпочел пройтись, подышать вечерней прохладой.

И только я пересек площадь, как обратил внимание на шедшую впереди женщину. С первого брошенного взгляда появилось ощущение, что она мне знакома. Такое, понимаете ли, специфическое чувство. Лица ее я, разумеется, не видел и по фигуре вроде бы не узнавал, а все же мог поклясться – знакомая.

Женщина шла по Главной улице, затем свернула на ту улочку, где когда-то держал лавку дядя Иезекииль. Я за ней. Не знаю почему – отчасти из любопытства, отчасти из-за некой опасливости. Первой мыслью было, что наконец-то мне встретился некто, кого я знал в прежнем Нижнем Бинфилде, но в следующий момент вспыхнуло подозрение, что это, вполне вероятно, приезжая из Западного Блэчли. А тут уж требовалась бдительность, поскольку, увидав меня здесь, жительница нашего района могла как-нибудь проболтаться Хильде. Так что я осторожно, соблюдая безопасную дистанцию, шагал за ней и пристально разглядывал доступные обзору детали ее внешности. Абсолютно ничего вдохновляющего. Рослая грузноватая бабенция уже к пятидесяти, в довольно затрапезном черном платье. Без шляпки, вообще вид такой, как будто только на минутку выскочила из дому, и туфли, судя по походке, со сбитыми каблуками. Общее впечатление – распустеха. Но, совершенно не опознанная мной, она, однако же, чем-то неуловимым тревожила мне память. Чем-то в своих движениях, что ли. Женщина подошла к лавке, торговавшей сладостями и писчебумажной мелочью (из лавочек, которые не закрываются по воскресеньям). Владелица канцелярско-кондитерских товаров поправляла в дверях открытки на стенде. Моя незнакомка остановилась, чтобы перекинуться с ней словом.

Я тоже притормозил, спешно найдя витрину для дотошного изучения

ее сокровищ. Выставлен там был разный бытовой ассортимент: образчики обоев, оборудование ваннных комнат, все такое. На расстоянии меньше пятнадцати ярдов от ворковавших кумушек мне отлично слышалась ахиня брэнчавшей женской болтовни, затеянной лишь с целью почесать языки. «Смех с ним, ну прямо один смех. А я скажу тебе, я ему говорю. Что ж, говорю, а ты что думал? Разве так можно, а? Но что с ним говорить! Как с камнем. Прямо стыд!..» И снова, и опять все то же. Я понемногу начал закипать. Очевидно, моя незнакомка, как и ее подруга, являлась женушкой местного мелкого торговца. Вряд ли, уже решил я, эта тетка могла быть кем-то из старинных моих знакомых в Нижнем Бинфилде, но тут она вдруг повернула голову почти ко мне лицом... Иисусе милостивый! Это была Элси!

Да, Элси. Никаких сомнений – Элси! Вот эта разбухшая дылда!

Меня так ошарашило (заметьте, не сама встреча, а то, во что Элси успела превратиться), что мир поплыл перед глазами. Медные краны и фаянсовые раковины разом как будто затуманило, я едва различал их. Кроме того, на миг продрал смертельный страх, что сейчас и она меня узнает. Нет, скользнув по мне взглядом, даже бровью не повела. Еще секунда, и, спокойно отвернувшись, она потопала дальше. А я опять за ней. Рискованная штука: моя слежка могла быть ею обнаружена, у нее мог возникнуть вопрос, кто же я такой. Но я как заколдованный шел следом, мне хотелось получше ее разглядеть. Просто понаблюдать за ней уже иначе – так сказать, новыми глазами.

Ужасно она выглядела; тем не менее изучал я ее со спины не без некоего научного любопытства. Жуткие штуки время вытворяет с женщиной. Прошло всего двадцать четыре года, и девушка, столь памятная мне, с ее молочно-белой кожей, алым ртом и отливавшими золотом волосами, сделалась этой неуклюжей сутулой клячей, волочащей ноги в стоптанных туфлях. Меня, честно сказать, откровенная радость охватила, что родился мужчиной. Никакой парень так безобразно не расползется. Пусть я толстяк, пускай, если хотите, плохо сложен. Но ведь, по крайней мере, я сложен. А Элси даже не была очень уж жирной – попросту бесформенной. Невнятный кошмар вместо бедер, талия начисто исчезла. И вся какой-то тяжело оплывшей массой, как куль с мукой.

Я долго шел за ней, сначала по старому городу, затем сквозь множество убогих незнакомых улочек. Наконец она вошла в магазинчик, и по тому, как вошла, было видно – вернулась домой. Я приостановился снаружи, перед витриной. «Д. Куксон: широкий ассортимент кондитерских и табачных изделий». Стало быть, Элси теперь миссис Куксон. Лавчонка

очень походила на ту, возле которой она болтала со своей приятельницей, только еще теснее и значительно неряшливее. Не похоже, чтобы здесь продавали что-то кроме дешевых сигарет и леденцов. Раздумывая, что ж мне тут купить, дабы немного задержаться у прилавка, я высмотрел в витрине несколько плохоньких трубок и смело переступил порог. Впрочем, потребовалось предварительно взять себя в руки, так как, узнай она меня, пришлось бы твердо, уверенно соврать.

Она возилась в задней комнатухе, но вышла, когда я явился. Итак, мы оказались с ней лицом к лицу. Ах! Ни единой черточкой не встрепенулась. Не признала. Смотрела самым обычным образом, а вам известно, как взирают на клиентов в подобных лавочках – с полнейшим равнодушием.

Наконец я вблизи, отчетливо ее увидел, и хотя был, казалось, подготовлен, получил удар, едва ли меньший, чем в тот момент, когда узнал ее. Вообще, глядя на юное и даже детское лицо, можно предугадать, каким это лицо станет, состарившись. Тут ведь все дело в костяке. Но если бы, когда мне было двадцать, а Элси двадцать два, возник вопрос, как она будет выглядеть в сорок семь, у меня бы и близко не мелькнуло, что выглядеть она будет *вот так*. Лицо обмякшее, обвисшее, как бы оттянутое вниз. Знаете тип стареющих женщин с бульдожьими физиономиями? Тяжелый ожиревший подбородок, круто опущенные углы рта, глаза глубоко в складках нависших сверху и набрякших снизу мешков – бульдог бульдогом. И все же это было то лицо, которое я бы узнал из миллиона. Волосы ее не совсем поседели, но стали тусклыми, и не много осталось от их былой пышности. Она не помнила, нет, никогда меня не знала. Перед ней стоял лишь очередной клиент, какой-то неизвестный, не вызывающий интереса толстяк. Поразительно, как нас преобразует какой-нибудь дюймовый слой жирка. И то ли я изменился еще больше, чем она, то ли она не ожидала меня увидеть, то ли (это скорее всего) просто забыла о моем существовании.

– Добры вечч, – уронила она дежурным безучастным тоном.

– Мне нужна трубка, – решительно сказал я. – Терновая трубка.

– А-а, щас. Токо б найти. Мы вроде бы получали трубки-то. Да где ж это коробка с ими? А-а, вона где.

Откуда-то из-под прилавка она выволокла полную трубок картонную коробку. Какой кошмарный выговор у нее появился! Или так показалось, ибо сам я успел приобщиться к иным культурным нормам? Нет, все-таки она была раньше «повыше», все девушки, служившие в «Лиллиуайтсе», были «повыше», и ведь она прилежно посещала Общество книголюбов у викария. Клянусь, она тогда не плющила, не кромсала слова. До чего ж

бабы опускаются после замужества! Я для вида порылся, якобы рассматривая трубки. Потом сказал, что мне хотелось бы с янтарным мундштуком.

– Янтарным-то? А даже не знаю, получали вроде... – И, обернувшись, она крикнула через плечо: – Джо-о-рдж!

Стало быть, нынешнего ее парня тоже зовут Джордж. Из глубин дома слышалось нечто похожее на недовольное рычание.

– Джо-о-рдж! Ты куда девал другие трубки?

Вошел Джордж. Низенький и коренастый, рукава рубашки закатаны, голова лысая, густые рыжеватые усы. Челюсти еще продолжали жевать: видимо, Джорджу прервали чаепитие. Оба они начали шарить по всем углам в поисках нужной коробки. Лишь минут через пять коробку обнаружили задвинутой за рядом банок со сладостями. Уму непостижимо, сколько хлама умеют накопить в этих душных лавчонках, где весь товар стоит не больше полусотни.

Я наблюдал, как неуклюже Элси тычется, передвигает тару, бубня что-то себе под нос. Видели вы старух, сутуло шаркающих, тупо ищущих потерянную вещь? Бесполезно пытаться описать вам, что я чувствовал. Какой-то холод, какую-то пустоту и смертную тоску. Нет, со стороны не представить, это нужно испытать. Одно скажу: если была у вас любимая лет двадцать пять назад, сходите посмотрите на нее теперь. Тогда, быть может, поймете мои эмоции.

С мыслями проще. Мысли в основном вертелись вокруг того, насколько же все получается не так, как ожидалось. Наши дни с Элси! Июльские ночи под каштанами! Кто мог подумать, что все оборвется, и следа не оставив? Что наступят времена, когда единственным нашим взаимным чувством будет безразличие? Вот я и вот она, стоим буквально в ярде друг от друга, и мы чужие, словно раньше ни разу не встречались. Что до нее, так она даже меня не узнала. А если бы я вдруг назвался, то, очень вероятно, и не вспомнила бы. Ну а вспомнив, что ощутила бы? Да ничего. Возможно, даже никакой злости, обиды за то, как подло я с ней поступил. Как будто абсолютно ничего никогда не происходило между нами.

И с другой стороны, кто мог предугадать, что Элси придет вот к этому? Она казалась девушкой, которой непременно суждено плохо кончить. Я знаю, что по крайней мере один мужчина у нее был до меня, и смело держу пари, что имелись другие после меня, до появления Джорджа Второго. Их, может, дюжина была, не удивлюсь. Я обошелся с ней ужасно, нет вопросов, и долго потом ежился, когда случалось это припомнить. Она когда-нибудь закончит на панели, вздыхал я, или голову сунет в духовку.

Иногда сознавал себя куском дерьма, а иногда приходил к выводу (достаточно справедливому), что не я, так нашелся бы еще кто-то ничуть не лучше. Но, понимаете ли, жизнь течет, и течет весьма тускло и уныло. Много ли женщин в действительности гибнет на панели? Чертово бабье племя стократ чаще гробится у стирального корыта. Завершался путь Элси ни плохо ни хорошо. Подошла она к финишу самой рядовой растолстевшей старухой, копошащейся при жалком грошовом дельце вместе с рыжеусым Джорджем, считающим ее своей. Наверно, и детей куча. Миссис Джордж Куксон. «Прожившая достойную жизнь и оставившая безутешных близких» – и, может, если повезло, умершая без привлечения к суду по делам о банкротстве.

Коробку трубок взгромоздили на прилавок. Естественно, с янтарным мундштуком не оказалось ни одной.

– Не помнится вроде, чтоб в этот раз с янтарными было получено, не, нету. А вон зато хорошенькие ессь, которы с эбонитовым.

– Хотелось бы с янтарным, – повторил я.

– Хороши трубочки-то. – Она вынула одну. – Гляньте, какая симпатичная. Полкроны всего.

Я протянул руку. Наши пальцы соприкоснулись... ни дрожи, ни смущения. Плоть забывчива. Теперь, видимо, вы уже представили, что я выложил Элси полкроны только лишь в память о прошлом? И не подумал. На черта мне трубка, я трубок не курю. Мне просто нужен был предлог зайти в лавчонку. Повертев в пальцах трубку, я положил ее обратно.

– Не важно, – сказал я, – такую не возьму. Дайте, пожалуйста, мне пачку «Театральных» с фильтром.

Надо ж было хоть что-нибудь у них купить после всей суетни. Джордж Второй (а может, Третий или Четвертый) вытянул с полки пачку сигарет, продолжая что-то дожевывать под усами и окончательно помрачнев от того, что ему не дали допить чай ради подобной ерунды. Но как-то уж чертовски глупо было даром выкидывать полкроны. Я удалился. Элси я видел в последний раз.

Поужинав в «Георге», я вышел с неким неопределенным намерением сходить в кино, если найдется подходящий сеанс, но вместо того приземлился в одном из больших шумных пабов в новой части города. Там завязалось знакомство с двумя парнями из Стаффордшира, коммивояжерами по скобяной части; мы обсудили ситуацию на рынке, покидали дротики в мишень и приняли немало кружек «Гиннеса». К закрытию паба собутельники мои так накачались, что пришлось на такси доставлять их к месту ночлега, да я и сам был хорош и наутро проснулся с

головой, гудевшей, как никогда.

Но требовалось все же повидать озерко Бинфилд-хауса.

Чувствовал я себя тем утром действительно паршиво. Надо сознаться, с момента ошеломившей встречи с Нижним Бинфилдом я выпивал и выпивал, просиживая в барах от открытия до закрытия. Все потому, как я лишь сейчас понял, что больше мне заняться было абсолютно нечем. Так что пока моя поездка состояла из трех дней почти непрерывной пьянки.

Уже в привычном утреннем состоянии я доплелся до окна, уставился на снующие внизу фетровые котелки и школьные фуражки. Враги мои. Армия победителей, которые, взяв город, усеяли его руины окурками и рваными пакетами. Почему, собственно, это меня так волновало? Вы, вероятно, полагаете, что вспучившийся вроде Дагенхема Нижний Бинфилд поверг меня в ужас, поскольку не люблю я застроенную землю и превращение сельской жизни в городскую. Да нет же. Я не против городов, если они действительно растут, а не внезапно расползаются, как лужа соуса по скатерти. Конечно, люди должны где-то поселиться и фабрики не здесь, так там должны стоять. А что касается всей «живописной» старины, то бишь подделок под крестьянскую утварь, фальшивых «дубовых» стальных панелей, развешанных медных кастрюль и оловянных блюд, меня от этого по-настоящему тошнит. Обиход у нас раньше был какой угодно, только не «живописный». Мать не видела никакого смысла в стародавних красотах, которыми «Обитель эльфов» набила наш дом. Матери совершенно не нравились столы на створчатых опорах («не знаешь, куда ноги деть!»), и выставленных для украшения оловянных кувшинов («только пыль собирать!») в нашем доме не водилось. Другое дело, что, как хотите, но имелось у нас нечто, чем вряд ли насладишься в оптимально-глянцевых закусовых с орущим радио. Вот это я мечтал найти, вернувшись, однако не нашел. И все-таки остатки надежд во мне продолжали трепыхаться даже тем утром, в час, когда я еще не надел свои зубы, а организм стонал, требуя аспирина и чашку чаю.

Вновь начали осаждать мысли насчет заветного озерка в Бинфилд-хаусе. После всего, что сотворили с городком, возникло беспокойство, тревожный страх, поехав, озерко мое тоже не обнаружить. Но ведь могли и не узнать про него. Да, город задавили тоннами новенького кирпича, дом наш загроздили дрянью «Обители эльфов», Темзу изгадили мусором и

бензином, но вдруг озерко сохранилось и по-прежнему в нем кружат громадные темные рыбыны? Возможно, тот укромный водоем все еще таится в лесу, до сего дня никем не обнаруженный. А что, вполне вероятно. Там ведь такая чаща с зарослями ежевики и завалами трухлявых сучьев, с дубами, что, в отличие от буков, обрастают густым подлеском, – такие дремучие дебри, куда людям обычно лезть не хочется. И вообще, случаются странные вещи.

Чуть не до вечера я медлил. Было, наверно, уже около пяти, когда я, сев в машину, добрался до шоссе, ведущего к Верхнему Бинфилду. На середине холма здания поределели, закончились, далее тянулся буковый лес. Я выбрал было поворот направо, чтобы подъехать к «Усадьбе» в объезд, но остановился поглядеть на деревья. Они стояли все такие же мощные, стройные. Господи, все такие же! Оставив машину на травяной обочине подле мелового откоса, я вышел пройтись. Как прежде! Та же тишь, те же груды шуршащих листьев, лежащих таким толстым слоем, будто, опадая из года в год, эти листья никогда не гниют. И ни души, кроме порхавших, теребивших ветки где-то наверху невидимых пичужек. Не верилось, что городская толчея шумит лишь в трех милях отсюда. Через буковый лес я побрел в направлении «Усадьбы». Как шли тропинки, мне уже помнилось смутно. И вот! Неужели она? Она, та самая известняковая ложбина, куда разбойники «Черной руки» спустились стрелять из рогаток, где Сид Лавгроу нам поведал, как рождаются младенцы, где я впервые гулял с шайкой в день, когда поймал свою первую рыбу, почти сорок лет назад!

Деревья расступились, тропа вывела к дороге и стене вокруг Бинфилд-хауса. Замшелый деревянный забор, разумеется, сломали, обнеся сумасшедший дом, как полагается, высокой кирпичной стеной с шипами поверху. Я стал думать, как же проникнуть внутрь, пока в голове не составил сюжет насчет измученной больными нервами супруги, которой я подыскиваю качественный санаторный приют. Уж после этого они весьма охотно покажут мне все их владения. В новом костюме у меня, надо надеяться, вид парня с кошельком достаточно тугим, чтобы поместить жену в частную клинику. Правда, у самых ворот я засомневался, что озеро где-то там внутри.

Земли старой «Усадьбы» простирались акров на пятьдесят, а территория лечебницы никак не могла занимать более десяти. И вряд ли владельцам клиники нужен был водоем, куда безумные пациенты бегали бы топиться. Сторожка, где жил старый Ходжес, сохранилась, но стена желтых кирпичей и массивные железные ворота сияли новизной. Кинув взгляд сквозь металлические прутья, я ничего не узнал. Лужайки, клумбы,

посыпанные гравием дорожки и несколько бесцельно блуждающих личностей – видимо, психов. Я направился в обход. Озеро (большое озеро, на котором мне доводилось удить) располагалось в паре сотен ярдов от усадебного дома, а до угла нынешней ограждающей стены я дошагал уже ярдов через сто. Стало быть, следовало идти дальше. Я пошел. Буковые стволы, мне показалось, теперь стояли как-то значительно реже. Слышались детские голоса. Черт возьми, озеро!

На миг я обомлел от изумления. Потом сообразил, что случилось, – все деревья вокруг воды были дочиста вырублены. Озеро выглядело голым, совершенно другим и очень напоминало Круглый пруд в Кенсингтонском парке. Всюду на берегу играли дети, белели паруса, шлепали по воде весла, несколько старших ребят гоняли на остроносых спортивных лодках, которыми управляют, крутя рычаг. Налево, где раньше в тростниках гнил ветхий лодочный сарай, теперь красовались нарядный павильон и кондитерский киоск, яркий щит над которыми гордо гласил:

ОБРАЗЦОВЫЙ ЯХТ-КЛУБ ВЕРХНЕГО БИНФИЛДА

Я посмотрел направо – дома и дома. Словно ты в городском предместье. Лес, окружавший озеро густыми джунглями, наголо сбрит. Лишь кое-где оставлено по паре-тройке буков между постройками. Имелись здания в изящном современном вкусе, имелись стильные имитации тюдоровской архитектуры – колония вроде той, что сразила меня в первый день у вершины Чэмфордского холма, только еще обширнее. Какой дурак мог возмечтать, что лес остался прежним! Я понял, из-за чего обманулся. Малюсенький кусочек леса, может, полдюжины акров, пока не тронули, и по чистой случайности именно через этот остаток леса я шел к бывшей «Усадьбе». Верхний Бинфилд, существовавший в моем детстве лишь как название места, действительно стал поселком. Вернее, просто отдаленным районом Нижнего Бинфилда.

Я подошел к берегу. Дети плескались, шумя и визжа как дьяволы. Озеро буквально кишело ими. А вода выглядела мертвой: не было в ней больше рыбы. Невдалеке стоял субъект, присматривавший за детьми, – пожилой бодрячок с пучками белых волос вокруг лысины, в пенсне на дочерна загорелом лице. Выглядел он несколько странноватым: в шортах, сандалиях и синтетической рубашке с открытым воротом, но больше всего поражали его мерцавшие сквозь линзы глаза – безмятежной, чистейшей голубизны. Типаж ясный: из не взрослеющих до старости. Это обычно

фанатики здорового питания или же кто-то при бойскаутах; в любом случае страстные поборники природы и свежего воздуха. Судя по брошенному им взгляду, он был не прочь поговорить со мной.

– Разросся же, однако, Верхний Бинфилд, – молвил я.

– Разросся?! – блеснули в мою сторону стеклышки пенсне. – О, что вы, уважаемый сэр, мы не позволяем Верхнему Бинфилду расти! Мы, знаете ли, тут особенные люди и тем гордимся. Всего лишь маленькое поселение, все исключительно свои, без посторонних, хе-хе-хе...

– Я имею в виду, сравнительно с довоенными временами. Я тогда, в детстве, жил в здешних местах.

– О, неужели? Да-да, в давние годы, еще до нас, ну разумеется. Но «Колония Верхний Бинфилд» – это совершенно уникальный жилой комплекс. Наш, знаете ли, собственный особый мир, хе-хе. Все по архитектурному проекту молодого Эдварда Уоткина. Вы, конечно, наслышаны о нем? Мы здесь живем в гармонии с природой. Никакой связи с городом внизу – он дернул подбородком в сторону Нижнего Бинфилда, – с фабричной копотью и тьмой невежества, хе-хе.

Хихикая, старикан морщил лицо добродушной кроличьей мордочкой. Немедленно, будто я спрашивал его, он начал излагать подробности о «Колонии Верхний Бинфилд», о молодом Эдварде Уоткине, архитекторе с замечательным чутьем тюдоровского стиля, сумевшим необычайно тонко распознать елизаветинские балки в постройках одной старой фермы и купить их за смехотворную сумму. И какой это интересный человек – центр и душа здешнего общества нудистов. Неоднократно мне было повторено, сколь исключительный, принципиально отличный от жителей Нижнего Бинфилда народ собрался здесь. Люди, призванные не загрязнять землю, а расширять и *улучшать* (именно так!) сельский ландшафт, и, разумеется, не допускающие у себя никакой торговли спиртным.

– Нам восхваляют «города-сады», но мы наш Верхний Бинфилд именуем «лесным городом», хе-хе-хе. Природа! – Старикан гордо повел рукой на остатки деревьев. – Вокруг нас первозданные леса, и наше юношество формируется в прекрасной естественной среде. Мы здесь, конечно, люди просвещенные. Три четверти из нас вегетарианцы, представьте себе. Окрестным мясникам наш народ очень, очень не по вкусу, хе-хе. И сколько здесь у нас выдающихся личностей! Мисс Хелена Тюрло, писательница, ну вы, конечно, знаете. Профессор Воуд, изучающий глубины человеческой психики. Необычайно поэтичная натура! Уходит бродить по лесам, так что семейство иногда не может отыскать его в часы трапез. Он говорит, что водит хороводы с эльфами. Вы верите в эльфов? Я

допускаю подобный феномен, хотя, хе-хе, с капелькой скепсиса. Однако фотографии профессора весьма и весьма убедительны...

Мелькнуло подозрение, не сбежал ли этот говорун из соседней клиники. Но, в общем-то, он был достаточно нормален, на свой манер. Я таких видел, встречал нескольких, когда жил в Илинге: вегетарианство, поклонение природе, поэзия, простая жизнь, босиком по росе перед завтраком. Он повел меня показать колонию. От леса ни следа, только дома, дома, и что за жуть! Знакомы вам эти строения «под старину»: кудряво загнутые крыши, беленые стены с темной сеткой фальшивых накладных балок, в садах камушки «альпинариев», цемент декоративных прудиков и гипсовые румяные гномы, что продаются в лавках у цветочников? Так и виделась набежавшая сюда кошмарная банда любителей бифштексов из щавеля и хороводов с эльфами – обожателей простой жизни, с годовым доходом не меньше тысячи. Все вплоть до тротуарных плит там было сплошным бредом. Я не дался долго меня водить вдоль обиталищ, многие из которых вызвали острое сожаление, что в кармане нет ручной гранаты. Мои попытки охладить пыл гида вопросами насчет того, не волнует ли колонистов столь близкое соседство с психиатрической лечебницей, желаемого результата не достигли. Вскоре, решительно остановившись, я спросил:

– Кроме вот этого, большого, тут ведь есть и второе, совсем маленькое озеро. Где-то недалеко отсюда.

– Что? Еще одно озеро? О нет! Нет-нет, не думаю, что здесь когда-либо имелось нечто подобное.

– Возможно, то озерко осушили, – настаивал я. – Оно было очень глубокое, осталась бы большая яма.

Впервые по лицу его скользнуло легкое смущение. Он потер переносицу:

– Хм-м. Надо, конечно же, понять некоторую элементарность в устройстве нашего хозяйства. Простая, знаете ли, жизнь. Нам предпочтительнее так. Хотя, конечно, вдали от городских удобств имеются и бытовые сложности. Определенные санитарные мероприятия налажены пока не совсем должным образом. Мусоровоз к нам приезжает, по-моему, только раз в месяц, м-да...

– Вы хотите сказать, что озерко, откачав воду, превратили в помойку?

– Естественный ход вещей потребовал наличия некой... м-м... – Он безуспешно попытался найти красивую замену слову «помойка». – Необходимо как-то разрешать проблему пустых банок и прочего, да-да, конечно... Это вон там, за той купой деревьев.

Мы проследовали туда, куда он указал. Оставив несколько деревьев, они скрыли его. Но оно в самом деле было там. Мое озерко. Нашлось наконец. Без воды на его месте образовалась отличная круглая яма, вместительная – футов сорок глубиной, наполовину уже полная консервных банок.

Я постоял, глядя на ржавые жестянки.

– Жалко, что осушили, – сказал я. – В этом озерке водилась крупная рыба.

– Рыба? О, относительно рыбы я никогда не слышал. Но разумеется, мы не могли оставить водоем среди поселка. Сырость и комары, вы понимаете. Впрочем, я лично не видел, как это делалось, все было реорганизовано еще до моего приезда.

– А дома здесь построили давно? – спросил я.

– О, думаю, уже лет пятнадцать назад.

– Я хорошо знал это место до войны, – сказал я. – Тут стоял сплошной лес, не было никаких домов, кроме усадебного. Клочок леса еще сохранился, я там прошел, идя наверх.

– Ах, наша роща! О, это священно! Мы приняли решение никогда не строить в ней. Святыня для нашего юного поколения, истинный, знаете ли, храм Природы. – И, блеснув сквозь пенсне лукавым взглядом, он доверительно добавил: – Мы называем эту рощу «Дух горной лощины»...

«Дух горной лощины», ага. Избавившись от болтуна, я сел в машину и поехал в Нижний Бинфилд. «Дух горной лощины»! Набили мое озерко ржавой помойной дрянью. Чтоб их сгноило и в пыль истолкло! Вы усмехнетесь: глупое ребячество, зачем браниться, но разве вас самих порой не рвет от того, как они уродуют Англию, с их гипсовыми гномами, «обителями эльфов» и кучами мятых жестянок на месте сведенных лесов?

Сентиментальный, говорите? Антиобщественный? Нельзя предпочитать деревья людям? А я скажу: смотря по тому, *какие* деревья, *какие* люди. Насчет некоторых ничего больше не остается, чем пожелать им холеру в кишках.

Одно я понял, съезжая с холма, – пора кончать с мыслью вернуться в прошлое. Ну что хорошего в попытках вновь увидеть места своего детства? Не существует больше этих мест. Глотнуть воздуха! Воздуха тоже больше нет. Мусорный бак, в который все мы свалены, крышкой до самой стратосферы. Ну и плевать, ладно, чего с ума сходить? В конце концов, думал я, у меня еще три свободных денька. Вот перестану волноваться из-за того, что стало с Нижним Бинфилдом, и тихо, спокойно отдохну. Что же касается идеи о рыбалке, это, конечно, чушь. С удочкой! В моем возрасте!

Действительно, Хильда была права.

Поставив машину в гараж «Георга», я пошел в бар салона отдыха. Было шесть часов. Кто-то включил радио послушать новости, и, когда я входил, звучал остаток сообщения «Сигналов бедствия». Признаться, сердце слегка подскочило, поскольку я услышал:

– ...куда сейчас в тяжелом состоянии поступила его внезапно заболевшая супруга Хильда Боулинг.

Бархатный голос продолжал рокотать: «Еще один призыв о помощи. Всех, видевших последний раз Уилла Персиваля Шутта, просим...», – но я уже не слушал, просто ровной походкой шагал к стойке. Потом мне не без гордости припоминалось, что, уловив шарахнувшее сообщение из репродуктора, я даже глазом не моргнул, не сбавил шаг – не дал присутствовавшим обнаружить во мне того самого Боулинга, чью заболевшую супругу Хильду срочно куда-то там отправили. В салоне находилась жена хозяина гостиницы, знавшая, как меня зовут (по крайней мере видевшая мою фамилию в регистрационном журнале), и всего двое постояльцев, понятия обо мне не имевших. А я хранил спокойствие. Ничем себя не выдав, уселся у стойки как раз открывшегося бара и заказал обычную свою пинту пива.

Ситуацию требовалось обмозговать. Ко времени, когда кружка наполовину опустела, основные моменты начали проясняться. Во-первых, Хильда не больна – ни тяжело, ни вообще сколько-то. С чего это ей вдруг болеть? Она при нашем расставании была в полном порядке, и сейчас не сезон для гриппа или хоть простуды. Больной она прикинулась. Зачем?

Очередная, надо полагать, ее уловка. Видимо, дело было так: она все же дозналась (Хильда есть Хильда!), что в Бирмингем я не поехал, и ее «тяжелое состояние» лишь способ мигом выманить меня домой. Невыносимо представлять меня с другой женщиной. А то, что мой обман имел целью амурные делишки, для нее, разумеется, абсолютная истина. Других причин ей даже не вообразить. И конечно, она рассчитывает, что, услышав о ее внезапной болезни, я моментально примчусь.

Однако напрасные хлопоты, думал я, допивая кружку. Меня так просто не возьмешь, стреляный воробей. Помнились ее прежние штучки; каких только усилий не жалела, подстраивая свои хитрые ловушки. Помню, во время одной моей командировки Хильда по карте, сверяясь с расписанием поездов в дорожном справочнике, вычисляла каждое передвижение, дабы проверить, не наврал ли я насчет маршрута. А то, помню, выслеживала меня до самого Колчестера и ворвалась внезапно ко мне в номер тамошней «Безалкогольной гостиницы». В тот раз, увы, подозрения Хильды

подтвердились – то есть не то чтобы напрямую, но имелись некие обстоятельства, как бы их подтверждавшие. Нет, нисколько не верилось в ее болезнь. Точно я, конечно, не знал, но практически был уверен – коварное притворство.

Взяв вторую пинту, я еще внимательней рассмотрел ситуацию. По возвращении домой меня, безусловно, ждет скандал, но скандал будет так или иначе, а сейчас впереди три вольных дня. Довольно любопытно, что теперь, когда все, ради чего я сюда приехал, оказалось несуществующим и невозможным, желание маленького праздника выиграло во мне с новой силой. Побывать вдалеке от своих домашних – большое дело. «Мир, совершенный мир, вдали от близких», как утверждается в псалме^[55]. И непременно при случае заведу интрижку, решил я. Раз уж у Хильды такое грязное воображение, пускай она будет права – какой смысл в подозрениях, если без оснований?

Разомлевшего после второй пинты, меня все это даже стало забавлять. Я на приманку не клюнул, но вообще, надо признать, чертовски изобретательно. Как же, однако, ей удалось пробиться на радио, в эти «Сигналы бедствия»? Не представляю, какова там процедура: просто звонишь с просьбой экстренной помощи или необходимо свидетельство врача? Я почти не сомневался, что надоумила Хильду ее дражайшая подруга Уилер. Наверняка без этой дамочки не обошлось.

Но ничего себе лихая дерзость, а? Ни перед чем бабы не остановятся! Ей-богу, иногда нельзя ими не восхититься.

Позавтракав, я вышел к площади пройтись. Утро было дивное: тихое и прохладное, с играющими на всех поверхностях бледно-желтыми, как белое вино, лучами. Утренняя свежесть приятно смешивалась с ароматным дымком моей сигары. Но в небе загудело, и вдруг прямо над домами появилась эскадрилья ревущих тяжелых бомбардировщиков. Я поднял глаза. Казалось, настоящий воздушный налет.

В следующий момент возник некий звук. Окажись вы рядом, вам довелось бы наблюдать яркий пример того, что называется в науке условным рефлексом. Ибо услышал я – и ошибиться было невозможно – свист падающей бомбы. Этого свиста я не слышал двадцать лет, но в напоминаниях не нуждался и, ни секунды не раздумывая, сделал единственно необходимое – упал ничком на землю.

Но вообще хорошо, что вы меня не видели. Вряд ли я выглядел достойно, распластавшись на мостовой, как крыса, зажатая под дверью. Никто еще не сориентировался, а я действовал так проворно, что в ту долю секунды, пока падала бомба, еще успел испугаться, что все-таки ошибся и свалил дурака.

Но тут же: БУ-УМ! БА-БАХХХ!

Сначала громовой удар, как в судный день, а затем грохот, словно лавина угля обрушилась на стальной лист. Это валились кирпичи. Меня как будто припаяло к мостовой. «Началось! – бежали мысли. – Так я и знал! Дружище Гитлер не мешкал, послал самолеты без предупреждения...»

И еще одна специфическая штука. Даже в секунды дикого оглушительного грохота, сковавшего тело от пяток до макушки ледяным ужасом, сохранилась способность сильно прочувствовать нечто помимо жути от разрыва многотонного снаряда. Как это описать? Выразить трудно, поскольку восприятие в значительной мере замешено на страхе. Главным образом словно воочию видишь взорванный металл; видишь, как, лопнув, разлетаются куски толстенной железной брони. Но что при этом необычно – чувство, что самого тебя внезапно вытолкнули лицом к лицу с действительностью, как будто разбудили, плеснув в лицо ведро воды. Лязгом грохнувшей бомбы вырвали из твоих дремотных грез, перед тобой кошмар, и кошмар этот – живая реальность.

Слышались крики, вопли, резкий визг автомобильных тормозов. Однако вторая бомба, которую я напряженно ждал, не падала. Я слегка приподнял голову. Со всех сторон метался кричавший народ. Косо промчавшийся через улицу автомобиль едва не занесло на тротуар, истерический женский голос вопил: «Немцы! Немцы!» Справа возникло пятно бледного пухлого мужского лица, смятого ужасом как бумажный пакет. Человек сверху глядел на меня, его била дрожь:

– Что это? Что? Что произошло?

– Началось, – сказал я, – бомбежка. Ложитесь!

Но вторая бомба все не падала. Выждав еще секунд десять, я снова приподнял голову. Кое-кто из людей еще метался, другие застыли как вкопанные. Невдалеке за домами вздымалось огромное облако пыли, сквозь которое столбом струился черный дым. А затем я увидел нечто фантастическое. По другую сторону площади улица имела подъем, и с этой пологой возвышенности на меня неслось стадо свиней, масса жутких свиных рыл. Мгновение спустя я понял, разумеется, что это. Вернее, кто – никакие не свиньи, просто школьники в противогазах. По-видимому, они бежали в какой-то подвал, где им было велено укрываться от воздушных

налетов. В тылу бегущих возвышалась особо крупная свинья – мисс Тоджерс, надо полагать. Клянусь вам, на секунду наблюдалось поразительное сходство со свиным стадом.

Я, кряхтя, поднялся и побрел через Рыночную площадь. Люди уже пришли в себя, некоторые небольшой толпой направились к месту упавшей бомбы.

Ну да, вы угадали. Бомбардировщики оказались не германскими. Война не разразилась. Всего лишь случайная авария. Самолеты вылетели, чтобы потренироваться в бомбометании (во всяком случае, с бомбами на борту), и кто-то по ошибке дернул рычаг. Полагаю, этот кто-то получил суровый втык. Паника кончилась довольно быстро: почтмейстер позвонил в Лондон спросить, началась ли война, ему ответили, что нет, и все уже знали, что просто несчастный случай. Но некий промежуток времени: может, минуту, может, минут пять – несколько тысяч горожан были уверены во вспыхнувшей войне. Хорошо, что заблуждение не длилось дольше; еще минут пятнадцать, и мы бы линчевали нашего первого «шпиона».

Я последовал за любопытными. Бомба упала на той боковой улочке, где когда-то вел свою скромную сапожную коммерцию дядя Иезекииль; снаряд разорвался всего ярдах в пятидесяти от бывшей его лавки. Завернув за угол, я услышал глухо гудевшее в толпе изумленным ужасом «о-оо!». Мне посчастливилось прибыть за несколько минут до машин «Скорой помощи» и пожарной команды, так что, несмотря на полсотни собравшихся, я смог увидеть все.

Первое впечатление, что прошел дождь из кирпичей и овощей. Всюду крошево капустных листьев – бомба напрочь разворотила зеленую лавку. На доме справа снесло часть крыши, горели чердачные стропила, у всех зданий вокруг те или иные повреждения и разбитые окна. Но взгляды были прикованы к дому слева. Его соседнюю с уничтоженной овощной лавкой стену обрушило, словно аккуратно срезало ножом. Невероятным образом комнаты наверху остались в прежнем виде. Точь-в-точь открытый спереди для восхищенных детских глаз кукольный дом. Кресла, комоды, выцветшие обои, еще не убранная постель с горшком под кроватью – все как положено в спальнях, за исключением одной исчезнувшей стены. А вот нижние помещения весьма пострадали от взрыва, представляя собой жуткое месиво известки, кирпича, обломков стульев и буфета, клочьев скатерти, осколков посуды, припасов из кладовой. Прокатившаяся по полу банка варенья оставила длинную полосу багрового сиропа рядом с ручейком крови. И на куче битых тарелок лежала нога. Одна нога, в штанине, в черном ботинке с

фирменной резиновой набойкой на каблуке. Это и вызывало общие потрясенные охи-вздохи.

Я постоял, посмотрел. Продолжавший медленно растекаться сироп постепенно смешивался с кровью. Когда прибыли пожарные, я отправился в гостиницу паковать вещи.

Хватит с меня, пожалуй, Нижнего Бинфилда. Еду домой. Но я, конечно же, не сразу, не в тот же час отряхнул прах от ног своих. Так не делается. Когда случаются подобные события, их надо хорошенько обсудить с народом. В тот день не много было трудов на рабочих местах в старой части города: всюду шли разговоры о том, как именно гроыхнула бомба и что каждый подумал, услышав этот грохот. Барменша в «Георге» сообщала, что ее «прямо всю затрясло», что ей теперь «вообще уж сна не будет», ведь чего ждать, коли такие вон сюрпризы с этими бомбами. Какая-то бедняжка, от страха подскочив при взрыве, откусила себе кончик языка. Выяснилось, что в старых кварталах всем подумалось о налете германской авиации, а в другом конце города решили, что рвануло на чулочной фабрике. Позднее (я сам читал это в газете) Министерство военно-воздушных сил выпустило специальное сообщение, где, в частности, результат упавшей бомбы был назван «неутешительным». Действительно, убило лишь троих: зеленщика по фамилии Перрот и жившую в соседнем доме пожилую чету. Тело старушки вытащили из развалин более-менее целым, старичка опознали по ботинку, а от зеленщика Перрота не нашлось ничего. Хотя бы брючной пуговицы, над которой отслужить панихиду.

После полудня, оплатив счет, я уехал. В кармане осталось всего три фунта с мелочью. Эти миленькие нарядные гостиницы умеют тебя обчистить, да я и сам, не скупясь, швырял деньги на выпивку, сигары и прочие излишества. Купленное удище со всей снастью я оставил в номере. Пускай возьмут. Мне уже не понадобится. Выкинул фунт, как говорится, за учебу. И славный получил урок. Не дано сорокапятилетним разжиревшим типам тешить себя рыбалкой. Не продлить им такие радости, разве что в снах, и не рыбачить им уже до гроба.

Странно, как впечатления, оседая, становятся отчетливей. Что я почувствовал, когда взорвалась бомба? В самый момент удара, разумеется, обмер от страха, а затем, глядя на разрушенный дом и валявшуюся стариковскую ногу, содрогнулся, как при виде жертв любой аварии. Муторное, конечно, зрелище. Вполне хватило, чтобы накормить по горло моим так называемым праздничным отпуском. Но, честно сказать, душу не перевернуло.

А вот когда я, выехав с окраин Нижнего Бинфилда, покатыл на восток,

все это снова во мне поднялось. Знаете, наверно, состояние, когда мчишь один за рулем и то ли волнистая лента бегущих мимо изгородей, то ли мерно стучащий двигатель помогает собраться с мыслями. Подобное еще бывает в поезде: вдруг начинаешь видеть вещи в более четкой перспективе. Все, смутно беспокоившее, стало проясняться в голове. Ну, например, моя поездка в Нижний Бинфилд. Как ее оценить? Игра без козырей? Возможно ли вернуться к жизни, которой ты когда-то жил, или та жизнь уходит навсегда? Что ж, теперь-то я *знал*. Да-да, хотя я, может, путано излагаю, но ответ появился уверенный. Старая жизнь умирает, и возвращение мое в Нижний Бинфилд было равносильно попытке вновь вернуть Иону во чрево кита. Нелепое приключение я придумал. Многие годы в уголке сознания вместе с дремавшей памятью о родном городке таилась вера, что захочу, так и назад, и вот попробовал, и не нашел буквально ничего. Разбила вдребезги мои мечты бабахнувшая бомба; полтонны тротила не пожалел Королевский военно-воздушный флот, чтоб уж наверняка.

Война, говорят, начнется в 1941-м. И если грянет, видимо-невидимо будет битой посуды, расколотых как фанерные ящики домов, кишок бухгалтерского клерка, размазанных по купленному в кредит пианино. Ну а пока? Сейчас-то что произошло? Я вам скажу. Несколько деньков в Нижнем Бинфилде мне доказали: *все это надвигается на нас*. Все то, что прячешь от себя, пытаешься считать ночным кошмаром или чем-то возможным только в других странах. Бомбежки, длиннющие очереди за продуктами, форменные рубашки и дубинки, колючая проволока, лозунги, огромные рожи на плакатах и пулеметы, строчащие с верхних этажей, – все это уже нависло над головой. Я понимал, в тот момент ясно понимал. И никак не спастись. Сопротивляйся, или же, зажмурившись, отыскивай «иной путь», или хватай чугунный молоток и с дружиной товарищей рвись бить, расшибать всмятку чьи-то лица – избежать не получится. Не отвертись.

Давя на газ, я гнал свой старенький автомобиль вверх и вниз по холмам мимо пролетающих за окном вязов, пасущихся коров и пшеничных полей – гнал так, что чуть мотор не сжег. Настроение было примерно как в тот январский день, когда я, надев новый свой зубной протез, гулял по Стрэнду. И снова ощущение, что у меня прорезался талант провидца. Казалось, я вижу всю Англию, всех ее жителей и весь кошмар, который их поджидает. Хотя даже тогда мне самому минутами не очень верилось. Страна наша так велика, думаешь ты, катя в машине знакомой дорогой по сельским просторам и представляя расстилающиеся вокруг бескрайние, как Сибирь, земли. Поля и буковые рощи, фермы и церкви, деревушки с

бакалейными лавочками, общинными залами и утками, степенно кружащими в зеленых тинистых прудах. Да разве все это может куда-то деться? Как-нибудь уж останется. Тем временем я по Аксбриджской дороге вывернул к Лондону, показался пригородный Саутхолл. Потянулись нескончаемые ряды однообразно-безобразных домиков с их прочно налаженным внутри тускло-благопристойным обиходом. И далее на двадцать миль огромный лондонский мир: улицы, площади, переулки, муравейники съемного жилья, пабы, лавки жареной рыбы, кинотеатры. И восемь миллионов живущих, суесящихся каждый по-своему людей, которым совсем не хочется жить по-другому. Нет таких самолетов, чтобы разбомбить их личный, бесконечно разный укромный уклад. Это же целый космос! Мириады маленьких отдельных, особенных существований! Вырезающий из газет купоны почтового футбольного тотализатора Джон Смит, сыплющий анекдотами в парикмахерской Билл Вильямс, купившая к ужину пивка миссис Джонс – их восемь миллионов! Ну справятся же как-нибудь? Бомбы не бомбы, а жить будут по-прежнему?

Мечты! Иллюзии! Сколько бы ни было людей, а катастрофы на всех хватит, каждому достанется. Наступают плохие времена, и легионы гладко наштампованных пришельцев уже на подходе. Как в точности будет потом, я не знаю и не слишком стремлюсь узнать. Одно мне ясно: если есть у вас что-то особенно вам дорогое, вы с этим лучше прямо сейчас попрощайтесь, поскольку все привычное и дорогое валится в навозную яму со строчащими без передышки пулеметами.

Но на подъезде к своему району волнения мои вдруг резко сменили курс.

Внезапно осенило (до этого ни тени подобной мысли), что ведь, в конце концов, Хильда действительно могла серьезно заболеть.

Влияние конкретной обстановки, сами знаете. Там, в Нижнем Бинфилде, я был абсолютно уверен, что жена здорова и просто изобрела трюк с целью меня выманить. Там мне это казалось совершенно очевидным. Но стоило вернуться на улицы Западного Блэчли, оказаться в кирпичном коридоре тюрьмы с названием «Сады Гесперид», как возвратился и привычный образ мыслей. Настрой понедельника, когда все видишь здраво, холодно и мрачно. Увиделось, какой проклятой дурью была эта затея, на которую я зря ухлопал пять свободных дней. Улизнуть в Нижний Бинфилд, дабы попытаться вернуться в прошлое, а затем прикатить обратно, с головой, распухшей от бредовых видений будущего. Будущее! Да что в нем для таких, как вы и я? Держаться за свое место на службе – вот оно, наше будущее. А что до Хильды, так ее и при бомбежках

волновать будут только цены на маргарин.

И вдруг увиделось, сколь идиотским был мой вывод, что она выкинула хитрый фортель. Конечно, радиопризыв о помощи имел все основания! Как будто у моей Хильды хватило бы фантазии! Прозвучала суровая правда. Не притворялась Хильда, впрямь ей худо. Черт возьми! Может, вот в эту самую минуту она корчится от кошмарной боли, а может, даже умирает... Меня пронзил отчаянный, сжавший кишки ледяным комом страх. Я на предельной скорости погнал по Элмир-роуд и, не поставив машину в гараж, выскочив у подъезда, кинулся к дому.

Ну да, по-вашему, я в глубине души все-таки люблю Хильду! Но что вы, собственно, имеете в виду? Вы собственное лицо любите? Возможно, не особенно, однако без него вам себя не представить – это часть вас. Ладно, нечто подобное в моих чувствах к Хильде имеется. Когда все идет своим чередом, мне порой тошно на нее смотреть, но мысль о ее смерти или хотя бы опасной болезни бросает меня в дрожь.

Повозившись с ключом, я наконец открыл дверь, в нос ударило знакомым запахом старых прорезиненных плащей.

– Хильда! – крикнул я. – Хильда!

Ни звука в ответ. И пока я в полнейшей тишине звал: «Хильда! Хильда!», по спине у меня потек холодный пот. Возможно, ее увезли в больницу или... возможно, в спальне наверху лежит покойница!

Я ринулся по лестнице, но в этот момент с обеих сторон второго этажа вылезли из своих комнат детки в пижамах. Было часов девять, только начало смеркаться. Лорна перевесилась через перила:

– Ой, папа! Па-а-апочка приехал! А почему сегодня? Мамуля сказала, что только в пятницу.

– Где мама? – отрывисто спросил я.

– Мамули нет. Пошла куда-то с миссис Уилер. Папуль, а ты чего приехал раньше?

– Значит, мама не заболела?

– Не-ет. Кто тебе сказал? Папуля, а ты ездил в Бирмингем?

– Да. Теперь марш в кровать. Простудитесь.

– Папу-уля, а подарочки?

– Какие еще подарочки?

– Которые ты нам привез из Бирмингема.

– Завтра получите.

– Ну пап, ну почему завтра? Ну почему сейчас нельзя? Ну па-апа...

– Рты захлопнуть и быстро в постель! Не то нашлапаю обоих.

Стало быть, она все-таки здорова. Стало быть, все-таки уловка. Уже не

очень понимая, радоваться или огорчаться, я пошел закрыть переднюю дверь, которую второпях оставил распахнутой, а там идущая в дом по дорожке Хильда собственной персоной.

Я смотрел, как она приближается в густеющем вечернем сумраке. Так странно: только что я обливался холодным потом от мысли, что она, быть может, умерла. Что ж, вот она, вполне живая и такая, как всегда. Жenuшка Хильда с ее худыми плечами и вечным беспокойством на лице, и счет за газ, и плата за школьный семестр, и запах старых прорезиненных плащей, и на работу в понедельник – несокрушимые и неизбежные основы твоей реальности; вечные истины, как любит повторять старина Портиус. Видно было, что Хильда не в духе. Метнув на меня острый взгляд, как мог бы глянуть какой-нибудь юркий зверек вроде куницы (подобный взгляд обычно означает, что у моей супруги что-то на уме), она, однако, кинула без особого удивления:

– О, ты уже вернулся?

Ответ был более чем очевиден, так что я промолчал. Никакого порыва поцеловать меня Хильда не обнаружила.

– На ужин для тебя ничего нет, – тут же проговорила она.

В этом вся Хильда: всегда, едва ты ступишь на порог, сумеет встретить неприятным сообщением.

– Я тебя не ждала, поэтому придется обойтись хлебом и сыром. Хотя сыр у нас, кажется, тоже закончился.

Вслед за ней я вошел внутрь, в духоту прихожей, пропитанную едким запахом прорезиненного тряпья. Мы проследовали в гостиную. Я закрыл дверь и зажег свет, понимая, что нужно заговорить первым, и чем увереннее, строже я начну, тем лучше будет для меня.

– Ну, расскажи, – пошел я в наступление, – что это, к дьяволу, за шутки ты вздумала играть со мной?

Положив сумочку на ящик радиоприемника, она повернулась и выглядела в ту секунду искренне изумленной.

– Какие шутки? Ты о чем?

– Радио! «Сигнал бедствия» в шестичасовых новостях!

– Что? «Сигнал бедствия»? Джордж, ты о чем?

– Хочешь меня уверить, что не заставила их включить эту информацию? О твоей внезапной тяжелой болезни?

– Конечно, нет! И как бы я могла? Я не болела. И зачем мне, скажи на милость, устраивать нечто подобное?

Я начал объяснять, но практически сразу до меня дошло, какая же случилась несуразность. Я ведь услышал лишь обрывок сообщения, и, по

всей видимости, речь шла о беде с какой-то другой Хильдой Боулинг. Наверно, если заглянуть в адресный справочник, там Хильды Боулинг длинным столбцом. Просто глупейшая, дурацкая ошибка из тех, которыми полна жизнь. Хильда никогда и не претендовала на такую изобретательность, какой я ее мысленно наградил. Единственный прибыток со всей этой нелепицы – те минут пять, когда я, представляя ее мертвой, обнаружил, что все-таки не совсем к ней равнодушен. Но это уже было кончено и забыто. Пока я объяснял, она лишь пристально глядела на меня, и по глазам ее я видел: назревает что-то гнусное. И вот началось выяснение пунктов моего повествования, которое я называю допросом третьей степени, поскольку вместо ожидаемой от палача настырной ярости вопросы тут звучат тихо и вкрадчиво.

– Так ты по радио услышал этот «сигнал» в бирмингемской гостинице?

– Да. Вчера вечером, по главному каналу.

– А когда ты уехал из Бирмингема?

– Сегодня утром, естественно.

(На случай, если вдруг понадобится отчитаться даже насчет обратного пути, я хорошо подготовился: отъезд в десять, ленч в Ковентри, чай в Бедфорде – все было тщательно расчислено по карте.)

– Значит, узнав вчера, что я тяжело заболела, ты сразу не уехал и ждал до самого утра?

– Но я ведь не поверил в твою болезнь, разве я все уже не объяснил? Подумалось – очередная твоя хитрость. В уловки твои, черт их подери, поверить гораздо легче.

– Тогда я чрезвычайно удивлена, что ты вообще вернулся! – сказала она с той порцией яда в голосе, которая обычно предвещает бурю. Однако следующая фраза прозвучала более спокойно: – И ты уехал из гостиницы сегодня утром, да?

– Да. Выехал около десяти, позавтракал в Ковентри...

– А *это* как ты объяснишь? – Выхватив из своей сумочки какую-то бумажку, она подскочила ко мне, держа листок словно фальшивый чек или иной преступный документ.

Ощущение, как будто мне с размаха вдарили под дых. Так я и знал! Все-таки подловила. Нашлось даже вещественное доказательство. Какое, я еще не знал, но, разумеется, обличавшее мои распутные шашни. Я моментально скис. Секундой раньше сам готов был гневно напасть на нее, поскольку мне без всякой уважительной причины сорвали важный контракт в Бирмингеме, но позиции наши внезапно поменялись. Не надо говорить,

на что я походил в тот момент. Представляю. Весь вид мой кричащей афишей признавал: «Грешен». И главное, греха-то не было! Но это уж привычка организма. Моя привычка чувствовать себя преступником. За сотню фунтов я не смог бы удержаться от виноватых ноток в голосе, когда пробормотал:

– И что это? Что там такое у тебя?

– А ты прочти, и сам увидишь.

Я взял листок. Письмо на бланке некой бирмингемской юридической конторы, в адресе которой значилась та же улица, где находился «Роуботем-отель».

«Глубокоуважаемая мадам, – начал читать я, – в ответ на Ваше письмо от 18 июня сего года мы можем сообщить лишь то, что, вероятно, имеет место досадное недоразумение. «Роуботем-отель» два года назад был закрыт, здание ныне арендуется рядом офисов. Персона, чьи данные соответствовали бы перечисленным приметам вашего мужа, по этому адресу не появлялась. Возможно...»

Дальше читать я не стал. Ясно. Перемудрил со своим алиби и вляпался. Оставался единственный слабый луч надежды: молодой Сондерс мог забыть отправить то письмо, которое я написал Хильде якобы из «Роуботем-отеля», и тогда открывалась возможность нагло отрицать свою вину. Но Хильда вмиг прихлопнула и этот шанс:

– Вот так, Джордж. Ты внимательно прочел? В день твоего отъезда я написала в «Роуботем-отель» – о, всего несколько строчек с вопросом, прибыл ли ты туда. И ты видел полученный ответ! Не существует даже этого отеля! Но мало того! С почтой, доставившей мне любезный ответ, пришло также твое письмо – от тебя, снявшего номер в давно исчезнувшей гостинице. Я полагаю, ты кого-то попросил отправить письмо с нужным штампом. Понятно, что являлось твоей важной командировкой в Бирмингем!

– погоди, Хильда! Тебе все видится неправильно. Это совсем не то, что ты думаешь, ты не понимаешь...

– О-о! Понимаю, Джордж. Я *превосходно* понимаю!

– Хильда, послушай...

Бесполезно, разумеется. Меня же поймали с поличным. Я даже ей в глаза не мог смотреть и, повернувшись, двинулся к двери.

– Машину надо поставить в гараж, – пояснил я.

– Нет, Джордж! Не ищи повод улизнуть. Ты останешься здесь и выслушаешь все, что я намерена тебе сказать.

– Черт подери! Хоть фары-то я должен включить? Темень уже на

улице. Ты что, хочешь, чтоб нас оштрафовали?

Это подействовало, она дала мне уйти. Я вышел, включил фары, но когда вернулся, она по-прежнему стояла каменной Фемидой, с лежавшими перед ней на столе двумя письмами-уликами. Взяв себя в руки, я сделал новую попытку:

– Слушай, Хильда, ты не с того конца смотришь на это дело. Давай, я объясню все с самого начала...

– Не сомневаюсь, Джордж: ты объяснишь *что угодно*. Вопрос – поверю ли я.

– Вечно у тебя заранее готовы выводы! Вообще, с чего вдруг тебе пришла мысль написать владельцам гостиницы?

– Мысль подсказала миссис Уилер. Как выяснилось, замечательную мысль.

– Ах, миссис Уилер! И ты позволяешь этой стерве влезать в наши семейные дела?

– Миссис Уилер не нуждается в чьих-либо позволениях. Она меня предупредила, что ты замышляешь что-то на этой неделе. Миссис Уилер разоблачила тебя, Джордж. У нее был *точно такой же* муж.

– Но, Хильда...

Я смотрел на нее. Лицо Хильды побелело гипсовой маской, как всегда, когда она думает, что я был с женщиной. С женщиной! Если бы!

И теперь перспектива, меня ожидавшая, будь она проклята! Ну, сами знаете. Неделя гнетущего мрачного ворчания, ядовитые реплики после того, как ты уже решил, что мир подписан, и еда всегда с опозданием, и дети, которым хочется узнать, что происходит. Но окончательно меня пришибла висящая в атмосфере какая-то густая пелена непроходимой тупости и скудоумия, в которой объяснить причину моей поездки в Нижний Бинфилд просто невозможно. Это уж был нокаут. Хоть месяц разъясняй Хильде, *зачем* я ездил в Нижний Бинфилд, она понять не сможет. А кто-нибудь на Элзмир-роуд сможет? Да я и сам разве способен это уразуметь? Голова совершенно опустела. Зачем действительно я ездил в Нижний Бинфилд? *Ездил ли* я туда? Сейчас вся затея с поездкой виделась абсолютной бессмыслицей. Реальный смысл для нас на Элзмир-роуд имеют лишь счета за газ, плата за школу, тушеная капуста и служебные будни с понедельника.

Я все же попытался:

– Хильда, выслушай меня. Ясно, о чем ты думаешь, но ты тут в корне ошибаешься. Клянусь тебе, ты не права.

– Да-а? А если я не права, Джордж, то зачем же понадобилось столько

лжи?

Полный тупик, конечно.

Я прошелся по комнате. Невыносимо несло вонью старых прорезиненных плащей. Так почему же я сбежал? Почему вдруг разволновался насчет прошлого и будущего, зная, что ни то ни другое значения не имеет? Каковы б ни были толкнувшие меня причины, сейчас они мне едва помнились. Давнишняя жизнь в Нижнем Бинфилде, война, после войны, Гитлер, Сталин, бомбежки, пулеметы, очереди за продовольствием, дубинки, колючая проволока – все поблекло, все испарилось. Только пошлый скандал и едкий запах сопревшей резины макинтошей.

Последняя попытка:

– Хильда! Послушай хоть минуту. Ну вот смотри: ты ведь не знаешь, где я находился на этой неделе?

– И не желаю знать. Я знаю, чем ты был там занят. Этого для меня вполне достаточно.

– Тьфу! Повторяю тебе...

Без толку. Она сочла меня виновным и теперь собиралась высказать все, что обо мне думает. Процедура часика на два. И на горизонте маячила еще одна пакость, поскольку рано или поздно она спросит, где я взял деньги на эту поездку, после чего дознается, что я утаил от нее семнадцать фунтов. В общем, были солидные основания надеяться, что раньше трех утра мы не закончим. Поза оскорбленной невинности смысла уже не имела. Следовало лишь определиться с линией наименьшего сопротивления. Мысленно намечалось три возможности.

Вариант первый: честно рассказать ей обо всем и как-нибудь заставить мне поверить.

Вариант второй: разыграть старинный номер насчет потери памяти.

Вариант третий: оставить ее в убеждении, что была «женщина», и понести заслуженную кару...

Да к черту! Знал я неизбежный, единственно возможный вариант.

Примечания

Неточная цитата: см. Третью книгу Царств, 3:26.

Ахмет Зогу (1895–1961), в 1928–1939 гг. король Албании.

Типичный для небогатых жилых районов дом на две семьи, с общей задней стеной и выходами на разные стороны.

«Belle vue», «Monabri», «Mon repos» – «Чудесный вид», «Приют души», «Мое отдохновение» (*фр.*).

Высшее инженерно-артиллерийское училище в лондонском районе Вулидж.

Речь идет об однотипных фирменных кафе названных компаний.

Флоренс Мэйбрик в 1889 г. отравила мужа; доктор Хоул Криппен в 1910 г. зверски зарезал жену; супруги Седдон в 1912 г. отравили свою жилищу.

Чемберлен Джозеф (1836–1914) – один из идеологов колониальной экспансии, в 1895–1903 гг. министр колоний Великобритании.

Имеется в виду королева Виктория (1819–1901) в своей загородной резиденции – Виндзорском дворце.

«Три отрока из печи огненной» (см.: Книга пророка Даниила, 1:6).

Геральдические звери британского королевского герба: красный лев Англии и белый единорог Шотландии.

Англобурская война 1899–1902 гг.; буры – голландские поселенцы в Южной Африке.

Фартинг – монетка достоинством четверть пенни.

Государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании.

Город в бурской Оранжевой республике.

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) – лидер лейбористов, неоднократно занимал пост премьер-министра.

Школа по типу гимназии в дореволюционной России.

Убийцы, казненные в середине XIX в.

Уолси (Вулси) Томас (ок. 1473–1530) – кардинал, в 1515–1529 гг. канцлер Английского королевства.

Речь идет о рассылавшихся каталогах лондонского универмага «Гамидж», по которым можно было выписать товары на дом.

То есть в начале XVIII в., во времена правившей с 1702 г. Анны Стюарт (1665–1714).

Повторяющий название флага Британской империи массовый официальный журнал.

От жаргонного «пов» – голова, башка (*англ.*); соответственно Нобби – смекалистый, башковитый.

Типичный лондонец, как правило, из низов; бойкий столичный житель.

Насмешливо-упрощенная формула старинного приговора к казни четвертованием.

Американский международный колледж, обучающий деловому администрированию.

Морские курорты юго-восточной Англии.

Роман Вальтера Скотта.

«Boy's Own Paper» – ежемесячный журнал для школьников, печатавший занимательные рассказы, статьи и советы по внеклассным занятиям; издавался с 1879 по 1961 г.

Джон Фокс (1516–1557) – английский богослов. Сочинение «Жития мучеников» посвящено преследованию протестантов при королеве-католичке Марии Тюдор (Кровавой).

Харди Джеймс Кейр (1856–1915) – основатель и лидер Независимой рабочей партии в Великобритании.

То есть приверженным официальной англиканской церкви.

Прозвище до глубокой старости возглавлявшего в парламенте лейбористов У. Гладстона.

Владельцы торговой компании «Леве́р бразерс» и лондонского универмага «Уайтли́з».

Сетевой магазин, торгующий промтоварами фирмы «Лиллиуайтс».

Имеется в виду холмистая местность прибрежной Юго-Восточной Англии.

Имеются в виду воинские ордена Святого Михаила, Святого Георгия и «За боевые заслуги».

Ян Мечислав (Жан де) Решке (1850–1925) – всемирно знаменитый польский оперный певец, исполнитель партий героико-романтического репертуара.

Речь идет о частных общедоступных передвижных библиотеках с небольшой годовой платой абонентов («Мьюди» и ряд др.) и системе «книжных клубов», когда издательские фирмы высылают подписчикам книги по сниженным ценам.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., лидер лейбористов.

Городок в составе Большого Лондона.

Наиболее массовая и демократичная, тяготеющая к пуританской догме ветвь официального англиканства (в отличие от более аристократичной Высокой и умеренного толка Широкой церкви).

Созданная в конце XIX в. У. Энневером система психологической концентрации и развития памяти.

Договор, заключенный в 1936 г. между фашистской Германией и милитаристской Японией.

Дорогой твид ручного производства.

Спущенный на воду в 1934 г. крупнейший трансатлантический лайнер.

Из стихотворения Джона Китса «Ода соловью» (пер. Е. Витковского):

Все та же песнь лилась проникновенно, —
Та песня, что не раз
Влетала в створки тайного окна
Над морем сумрачным в стране забвенной.

Бивербрук Уильям Максвелл Эйткен (1879–1964) – английский политический деятель, ярый консерватор, крупнейший газетный магнат.

Дагенхем – лондонский пригород, разросшийся благодаря построенному там в 1912 г. автозаводу американского промышленника Генри Форда.

Библейский персонаж, мать которого, узнав о гибели свекра и мужа и захваченном врагами ковчеге Завета, до срока родила сына и умерла, успев лишь горестно произнести: «...отошла слава от Израиля...» (I Царств, 4:21).

Пласт пресного теста, на который с жарящегося на рашпере мяса стекают жир и сок.

Деревня в Египте, возле которой в 1882 г. англичане одержали победу над мятежным египетским войском.

Элегантный, благовоспитанный (*фр.*).

Трубой лондонцы называют свой метрополитен.

Из англиканского псалма, толкующего текст ветхозаветного пророка об уповании на совершенный мир Господний (см.: Исайя, 26:3).